

ГРАНИ

GRANI

152

1989

Verlagsort: Frankfurt/M., April - Juni



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLIII

№ 152

1989

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир СОЛОУХИН	
Из новой книги. Стихи	5
П. СЛАВИН-БОРОВСКИЙ	
Перегадов. Повесть	15
Юрий РАЗУМОВСКИЙ	
Люди вышли из "Шинели Гоголя". Стихи	74
Е. СЛУЦКИЙ	
Круг молчания. Стихи. (Вступление Е. А. Огневой)	91

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ирина МУРАВЬЕВА	
Два имени (Т. Толстая и Л. Петрушевская)	99

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА

Борис КАМКОВ	
Письма из тюрьмы и ссылки (1921-1924) Публ. Ю. Фельштинского	134

ПУБЛИЦИСТИКА

Глеб АНИЩЕНКО	
Кто виноват?	143
А. ТРЕТЬЯК	
Политический режим и характер собственности	167

ИСТОРИЯ

Н. В. САВИЧ	
Константинопольский период (Публ. Н. Рутыча)	197

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Виктор АКСЮЧИЦ	
Социализм и реальность (начало)	265

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Виктор БОРИСОВ	
"Мячик закатился под кровать..." (в связи с одной публикацией Юрия Карабчиевского)	304
Елена ДУБРОВИНА	
"Я чужбинную ноту пою..." (о новом сб. стихов В. Синкевич)	308
Валентина СИНКЕВИЧ	
Русская судьба (П. Жадан "Русская судьба")	313
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	318

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Владимир СОЛОУХИН

Из новой книги*

Придет весна

Стоит зима сурова и жестока,
Она мертвит, гуляя по лесам,
И корни, что – в родной земле глубоко,
И ветви, что – стремятся к небесам.

Сады вокруг, взращенные веками,
Не вспыхнут белым цветом по весне,
Хотя они еще не знают сами,
Что умерли в морозе, как во сне,

И сами мы пока не знаем даже,
Где мертвый сук, где чаящий весны.
Стоят деревья, черные, как сажа,
На фоне ровной снежной белизны.

Но день придет, наступит разделенье,
Когда весной распушится листва:
Кому идти на черные поленья,
Кому дышать оставлены права,

* Из новой книги стихов "Северные березы".

И пить дожди под теплым небом мая,
Отяжелаясь от плодов земных...
Придет весна, природу обновляя
И отделяя мертвых от живых.

Черемуха

Какой простор насмешкам был,
Упрекам тошным и сварливым,
Что я черемух насадил,
Где быть бы яблоням и сливам.

Как помню, даже и сосед
Не похвалил моей затеи:
"Ни красоты особой нет,
Ни проку, кроме, разве, тени.

От ягод сразу вяжет рот,
Ну съешь десятка два от силы.
Конечно, ежели цветет,
То и душисто, и красиво,

Но это ведь – три дня в году.
И – отцвела. И – все забыто.
И для чего сажать в саду,
Когда ее в лесу избыток?"

Но я вчера окно открыл,
Нет, распахнул окно, вернее,
И белой сказкой встречен был
И сразу замер перед нею.

Вдохнув душистую волну
Прохладно-белого цветенья,

Как в том романе в старину,
Я опустился на колени.

Пыланье белого огня
В чуть золотистый час рассвета...
О, три черемуховых дня!
Пусть остальные – просто лето.

Вы не обманете меня,
Чуди, капризничай, погода...
О, три черемуховых дня
За остальные будни года!

Судьба, пути свои верши.
И отживу. И в землю лягу.
Три дня цветения души!
Себе берите тонны ягод.

И расцветая и звеня,
И ты, красивая, прости мне,
Что – три черемуховых дня,
А остальные все – простые.

То утро в памяти храня,
Прошу у жизни, как награды:
Дай три черемуховых дня,
А остальных уже не надо.

Старые песни

Нам прошлый мир убог и тесен,
Живем на новом рубеже,
И от запетых старых песен
Как бы оскомина уже.

Хоромы, кони воронные,
Отрада, сторож в терему
Не говорят, пожалуй, ныне
Уже ни сердцу, ни уму.

Смешны и гривы, и погони,
Кистень и посвист молодца...
Но ведь когда б и вправду – кони,
И ты, бегущая с крыльца,

Когда б и вправду, там, за прялкой
Моей судьбы крутилась нить,
Ужель какой-то сторож жалкий
Меня бы мог остановить?

И впрямь, за ласки и за взоры,
Чтоб ты владела мной одна,
Ведь отдал бы я эти горы
И реки, полные вина!

Иванушки

Старик орает. Ткет холсты старуха,
Румяна дочка, полон сундучок,
А на печи, держа в руках краюху,
Иванушка – простите – дурачок.

В тонах доброжелательных и красках,
Русоволосы, мыслями легки,
На всех печах, во всех народных сказках
Иванушки – простите – дурачки.

На теплых кирпичах, объаты ленью,
Считая мух, они проводят дни.

Зато потом по щучьему веленью
Все моментально сделают они.

Драконов страшных тотчас побеждают,
Им огненные головы рубя,
Невинных из темниц освобождают,
Берут царевен замуж за себя.

Забыв о печках, мамках и салазках,
На Сивках-Бурках мчат во все концы.
Как хорошо: во всех народных сказках
Иванушки выходят – молодцы.

Ан, нет и впрямь: и царство все проспали,
И отдали в разор красу земли...
Царевен в сказках доблестно спасали,
А подлинных царевен не спасли.

Друзьям

Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья...
Могилы, могилы, могилы –
Их сосчитать нельзя.

Стреляли людей в затылок,
Косил людей пулемет.
Безвестные эти могилы
Никто теперь не найдет.

Земля их надежно скрыла
Под ровной волной травы.
В сущности – не могилы,
А просто ямы и рвы.

Людей убивали тайно
И зарывали во тьме.

В Ярославле, в Тамбове, в Полтаве,
В Астрахани, в Костроме.

И в Петрограде, конечно,
Ну и, конечно, в Москве.
Потоки их бесконечны
С пулями в голове.

Всех орденов кавалеры,
Священники, лекаря,
Земцы и землемеры
И просто учителя.

Под какими истлели росами
Не дожившие до утра
И гимназистки с косами,
И мальчишки-юнкера?

Каких потеряла не ведаем
В мальчиках тех страна
Пушкиных и Грибоедовых,
Героев Бородина.

Россия – могила братская,
Рядами, по одному,
В Казани, в Саратове, в Брянске,
В Киеве и в Крыму...

Куда бы судьба ни носила,
Наступишь на мертвеца.
Россия – одна могила
Без края и без конца.

В черную свалены яму
Сокровища всех времен:
И златоглавые храмы,
И колокольный звон.

Усадьбы, пруды и парки,
Аллеи в свете зари,
И триумфальные арки,
И белые монастыри.

В уютных мельницах реки,
И ветряков крыло.
Старинные библиотеки
И старое серебро.

Грив лошадиных космы,
Ярмарок пестрота,
Праздники и сенокосы,
Милость и доброта,

Трезвая скромность буден,
Яркость песенных слов.
Шаляпин, Рахманинов, Бунин,
Есенин, Блок, Гумилев.

Славных преданий древних
Внятные голоса.
Российские наши деревни,
Воды, недра, леса.

Россия – одна могила,
Россия – под глыбой тьмы...
И все же она не погибла,
Пока еще живы мы.

Держитесь, копите силы,
Нам уходить нельзя.
Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья.

Настала очередь моя...

Когда Россию захватили
И на растление обрекли,
Не все России изменили,
Не все в предатели пошли.

И набивались тюрьмы теми,
В ком живы были долг и честь.
Их поглощали мрак и темень,
Им ни числа, ни меры несть.

Стреляли гордых, добрых, честных,
Чтоб захватив, упрочить власть.
В глухих подвалах повсеместно
Кровища русская лилась.

Все для захватчиков годилось –
Вранье газет, обман, подлог.
Когда бы раньше я родился,
И я б тогда погибнуть мог.

Когда, вселяя тень надежды,
Наперевес неся штыки,
В почти сияющих одеждах
Шли Белой Гвардии полки,

А пулеметы их косили,
И кровь хлестала, как вода,

Я мог погибнуть за Россию,
Но не было меня тогда.

Когда (ах, просто как и мудро)
И день и ночь, и ночь и день,
Крестьян везли в тайгу и тундру
Из всех российских деревень,

От всех черемух, лип и кленов,
От речек, льющихся светло,
Чтобы пятнадцать миллионов
Крестьян безвинных полегло.

Когда, чтоб кость народу кинуть,
Назвали это - "перегиб",
Я - русский мальчик - мог погибнуть
И лишь случайно не погиб.

Я тот, кто, как ни странно, вышел
Почти сухим из кутерьмы,
Кто уцелел, остался, выжил
Без лагерей и без тюрьмы.

Что ж, вспоминать ли нам под вечер,
В передзакатный этот час,
Как, души русские калеча,
Подонков делали из нас?

Иль противостоя железу
И мраку противостоя,
Осознавать светло и трезво:
Приходит очередь моя?

Как волку вырваться из круга,
Ни чувств, ни мысли не тая?

Прости меня, моя подруга,
Настала очередь моя.

Я поднимаюсь, как на бруствер,
На фоне трусов и хамья.
Не надо слез, не надо грусти –
Сегодня очередь – моя!



Переогодов

Часть I

1

Вагон подергался и остановился. Станция называлась коротко и глупо: Калым. Трижды в день над ней пролетал маленький самолетик. Потом Переогодову объяснили, что первый слог редуцируется, произносится К'лим и значит... — что-то там в каком-то из дюжины падежей. Но "Калым" говорили все, в том числе и хитрые лесовички-местные жители. Поезд из трех вагонов дальше не шел. Станция была на отшибе, в оглавлении однокорейного тупика. Правее, ветвясь по стрелке, тянулись еще четыре рельсовых линии, в видимом далеке упиравшихся в китайскую стену золотистых бревен. За спиной Переогодова все рельсы сходились в один путь и тоскливо терялись в перспективе узко вырубленного леса.

Перекусив из мешка, Переогодов отправился искать контору. От станции увидев поселок, он подумал, что, во-первых, странно далеко — километрах в трех, и во-вторых, — близко от берега: видно, что в паводки поселок "плавает". Улица была песчаная и сухая. Ощущение, что сам он себе выбрал место и в любой момент может уехать, хоть и не было полностью справедливо, расцветчивало все в радостные

тона. Залитый солнцем, на желтом песке, крашенный желтым, поселок лежал в окружении старо-зеленого, до черноты, леса, но располагался просторно, и перейти улицу от дома к дому требовалось время.

Встретили в конторе Перегодова спокойно и, спросив, что хочет, отправили на работу в лес. А здесь, в поселке, дали в общежитии место: койку в большой комнате, тумбочку и белье. Соседей никого не было до субботы, и два дня можно было валяться в тишине, отдыхать.

Долго, больше двух лет – тридцать месяцев, – Перегодов строил, не зная толком – да и не очень задумываясь – что. Какое-то предприятие. Носил раствор, махал крановщику, принимал бетонные блоки, помогал сварщику соединять тонкие плети труб. Его мало трогали конечные результаты, хотя саму работу старался выполнять добросовестно. То, что предстояло сейчас, было не тяжелее, конкретнее и приятней. К тому же на вольном воздухе. Перегодов горел вгрызться в работу. Следующий день несколько изменил картину, напугав нечаянным счастьем.

С утра Перегодов пришел к директору леспромхоза: подписывать заявление на сто рублей аванса. Свои деньги не могли даже кончиться – их не было. Кроме хозяина, в кабинете сидел Главмех – человек молодой, толстый и расстроенный. Под окном кто-то терзал машину. Дизель икал, дергался, исходил астматическим грохотом. В чем дело – было совершенно ясно; следовало глушить и полчаса повозиться. Но остолоп в машине, видимо, наслаждался, как малолетний садист, дергающий за хвост кошку. Перегодов тихо выругался.

Механик насторожился: "Сечешь?" – "А чего тут сечь?!" – "А ну, пошли!" – механик шариком на сквозняке вылетел в двери. На улице он вытащил из кабины растерянного паренька и прислонился к задним колесам МАЗа. Смотрел настороженно. Стараясь не обращать внимания, Перегоров поднял кабину, прислушался, не спрашивая, разыскал инструмент, и через четверть часа синий бегемот урчал ровно и радостно. "Шофер!" – механик весело смотрел на Перегорова. "Угу", – без энтузиазма подтвердил тот, приваливаясь к баранке. "Бери! Твоя будет". Пришлось Перегорову сказать, что прав у него нет, и объяснить, почему не предвидится. Механик задумался. "Ладно, – выдохнул он, – ГАИ у нас нет, мы сами себе ГАИ – бери, езд!" "Угу", – никак сказал Перегоров. Потом не торопясь закрыл дверку, перегазовал и тронулся. "Я обкатаюсь", – крикнул он круглому человечку и выехал со двора.

Механик не знал, что Перегорову, двенадцать лет отработавшему на тяжелых, вездеходных и грузовых машинах, после того, как он, упав на стройке, повредил позвоночник, врачи навечно запретили садиться за руль нелегкового автомобиля. Механик сделал царский подарок. Развернувшись юзом у станции, Перегоров свернул в сторону от поселка и подумал, что в этой глуши можно до пенсии крутить баранку, не думая о комиссиях и ГАИ. Он был счастлив.

У толстого главного механика были свои заботы. Летом вывозка маленькая, расценки хилые – все шоферы разбегаются на лесосплав, на реку. Удобно в это время обкатывать стажеров, но больно уж достается технике. Да и

стажеров-то сей год - только один. А этот битый мужик чувствует машину как себя. Снять его, без прав-то, когда вернутся свои водители, - раз плюнуть. А заставить делать, что не захотят другие, - тоже. Молодой механик всерьез учился у своего директора и давно понял, что работать легче и лучше с людьми грешными. Главное, чтоб загулявший водитель не угробил машину. А так - пусть гуляет. Пропьется - все равно работать будет как проклятый: деваться-то ему больше некуда. Вот и делает за две оставшиеся недели столько, что иному и в месяц не навозить... И сам вину свою чувствует. Премии ему срезать полагается. Чуть-чуть. Получается экономия, производительность и вообще - "кругом шешнадцать".

Утром Перегодов выехал в лес. Дорогу показывал тракторист "челюстника" - погрузчика. И ехали по "лежневке" - целыми бревнами, вдоль настеленной гати. С лежневкой Перегодов сталкивался впервые, а что челюстник от "челюсть", он понял, только увидев суставчатое приращение к трактору, и вправду напоминавшее огромные паучьи жевала, уэллсовски-марсианское и до жути самостоятельное. Непривычные обыденные слова повторял он с удовольствием.

Лес Перегодов никогда не возил, но приходилось - трубы. И, как понял он в первом же рейсе, разница невелика. Стиральная доска деревянной дороги скорости не допускала, и сорокакилометровый маршрут был по дневному плану единственным. Через неделю Перегодов делал два рейса за смену. Но солнце садилось в одиннадцать, устать за одну смену Пере-

годов не успевал и стал делать четыре рейса за полторы. Благо погрузка работала круглосуточно.

Безбрежная глухомань, пустынность трассы, надежная, как прочные стены, дремучесть тайги дарили покой, чувство защищенности и свободы. Перегодову было сказочно хорошо. Воскресеньями становилось неприятно. Лесники – пильщики, чекеровщики, сучкорубы – приняли Перегодова сразу: со вниманием, сочувствием и симпатией. Он отвечал тем же. Но больно уж было их много и суетно. И Перегодов, для приличия выпив со всеми субботним вечером, с утра в воскресенье уходил к реке, в лес – без цели: смотреть, дышать, слушать. Находя изредка абсурдный по времени и форме сморчок у дорожной разбитости, он думал о пальцах и чистке картофеля. И возвращаясь поздним вечером, он в едва намечавшихся сумерках ложился в чуть влажные простыни и засыпал под комариный гул.

В конце месяца пошли дожди. Они не портили Перегодову настроения, но создавали некую атмосферу, будившую вновь желание заняться любимым делом. А дело у Перегодова было странное.

2

В детстве, с младенчества, человек рисует. И если мальчик лет четырех от роду неверной рукой ухитрится начеркать нечто вызывающее ассоциацию с домиком, родственники и иже с ними ахают и с очаровательным идиотизмом начинают утверждать, что из младенца выра-

стет Корбюзье. По прошествии времени, коли милостив Господь к ребенку и родители его не столь состоятельны, чтобы пристроить дитяню учиться на Жолтовского, из него, возможно, вырастет сантехник, из-за которого коммунальщики будут вцепляться друг другу в горло. А живописно-архитектурные потребности благополучно сведутся к проектированию дачного сортира. Взрослые люди домиков не рисуют.

Перегородов рисовал. Как года в четыре начал, так и не останавливался. Правда, ни родственники, ни мама с папой над детскими перегородовскими творениями не ахали и не пророчествовали. Родители наблюдали его в основном спящего – уложенного старухой нянькой (сердобольная соседка за то, чтобы привести из детского сада и тут же уложить Перегородова-младшего, драла со старших триста рублей в месяц), или мерзко-капризного, непроснувшегося по утрам, когда надо было успеть завести его перед работой в садик. Спустя время, подросткового Перегородова всерьез заинтересовала деятельность отца – механика автобазы. Отец любил свое дело, сумел приучить к нему сына, и, как известно, автомобилист из Перегородова образовался примечательный. А домики были детской тайной. Потом юношеской. Потом старшие попали в аварию, и Перегородова-сына не забрали в армию как имеющего на иждивении двух родителей-калек. И когда от нервотрепки и усталости хотелось повеситься, Перегородов садился рисовать домики.

Со временем он кое с кем познакомился, доставал журналы и прочую литературу, полюбил скупать канцелярию и заколдованных карликов, прикидывающихся чертежными ин-

струментами. Но никому ничего не показывал и не говорил. Дворцы, небоскребы, вообще большие здания мало занимали Перегородова. Разве что – посмотреть. Увлекался он особняками (можно назвать – дачами, индивидуальными домами). Сначала лишь экстерьер – внешний вид здания. Но как-то, живший с родителями в двухкомнатной – одна проходная – квартире, он сделал дом для себя, своей семьи. И теперь рисовал дома с планировкой, мебелью, интерьерами.

Со временем Перегородов нашел себе друзей архитекторов. Они обратили внимание на его идеи. Женщина, очень понравившаяся Перегородову, стала его женщиной, и под ее напором один из проектов выпорхнул и несколько поразил. Друзья Перегородова были настоящими людьми и друзьями, но все их усилия выставить проект на конкурс разбились об отсутствие у автора профессионального образования.

Любящая женщина всегда своекорыстна в возлюбленном. Ей нужна его слава, нужно им гордиться. Ради этого она способна на все: вцепиться в горло, не спать неделями, пойти на панель. Но ничто не смогло помочь Перегородову поступить учиться. В закутке ресторана Союза к Перегородову и его друзьям подошел невиняемо пьяный член приемной комиссии и глядя, как больной спаниель, сказал: "Ты слишком талантливый. Мы тебя все равно зарежем". Потом упал на колени и покаянно слюняво плакал. Потом Перегородова "зарезали". В четвертый раз. Спустя неделю любимая Перегородова не пришла, спустя месяц – не позвонила, спустя три – вышла замуж. Не за Пере-

годова. Перегодов уехал водителем в экспедицию.

Когда он вернулся, друзья вручили ему немалую сумму и сказали, что есть еще заказы на большие зимние особняки-дачи. Перегодов начал на домиках зарабатывать деньги.

Работал он медленно, привязываясь не только к желаниям и местности, но и к людям, которые будут жить. А это требует времени. И зачастую с полдороги отказывался, вдруг не приняв чего-то в интересующем человеке. Но делал "кожу". Капитала Перегодов не сколотил, однако смог с дружеской помощью, чьей-то хитростью и заработанными деньгами переехать в удобную трехкомнатную квартиру. Дела пошли лучше, но родителям все больше требовалась квалифицированная помощь, и почти все заработки шли на лекарства и замученных, со сказочной выдержкой медсестер. Перегодов считал, что с деньгами у него складывается невероятно удачно. Друзья доставляли ему ватман, хорошие карандаши, книги.

.....

Дали Перегодову три года по сто шестьдесят восьмой статье УК: занятие запрещенным промыслом. С конфискацией.

Через несколько дней его родители умерли. Почти одновременно. Сердце.

3

С неделю Перегодов прислушивался к себе. Не спешил. А воскресной моросью с утра прошел

весь поселок. Песок, плотный и матричный, набирал бесконечные очерки из жизни следов. Без яркого солнца желтое – главный цвет поселка – выцвело и посерело. Лишь обвалившийся берег над рухнувшим, скелетным телом моста желтел вызывающе гепатитно. Хотелось объявить карантин и дезинфицировать.

Замечательно нудным и временным выглядело поселение. словно кто-то задавался целью и тени сомнения не оставить в том, что ни города здесь не будет, ни саду тут не цвести. И сами дома, сложенные из бруса, – лишь остроумное сохранение дерева, а когда вырублены будут все дальние и близкие окружающие леса, коробки штабелей разберут и переработают на бумагу и тарные ящики. В таких местах похоть не осуждается, и пьяного по снегу волокут не к дому, а в ближайшие незапертые двери.

Переговых начал рисовать домики. Его мало трогала целесообразность. Скорее, наоборот: нереальность воплощения проекта развязывала руки. Не было заказчиков, условий, гостей, значит, оглядываться стоило только на себя, свой вкус, душу.

Для начала куплен был во всеядном сумеречном магазинчике пухлый, с почти картонными листами карликовый альбом и коробка солнечных карандашей разного грифельного достоинства. Тщательно, с нескольких точек, зарисовав поселок, Переговых стал убирать строения, превращая территорию в поле.

До самих "домиков" дело еще было не скорое, и пока Переговых приглядывался, принюхивался, приживался кожей к пунктирам песчаных неровностей и небесному – дождевому и вед-

ренному - своду. Впрочем, иногда, перекосив на кочке перспективу выстриженной в тайге дороги, он останавливал машину и рисовал в альбоме какие-то линии: важные для памяти углы, смещения, переломы. А то вдруг лицо с неожиданным выражением появлялось на фоне дверных проемов и стен. Или стушеванная в перспективе скотина, разом похожая на корову, козу и легковую автомашину. И лишь в самом конце альбома, предваренные анатомическим театром крыш, крылечек, разнооконных стен и разнорамных окон, появились портреты трех зданий. Абсолютно между собой разные, они связывались узами места, где стояли, - это была их плацента.

Переговых пошел к директору школы, с которым успел уже познакомиться. Школа в поселке была восьмилетняя, музейно гулкая и владела большим кульманом. Директор пообещал Перегову достать через знакомых в областном городе настоящий ватман и хорошую, дорогую готовальню. Но и то, что отыскала завмаг на складе и в районном центре, на первых порах устраивало. Перегову работалось. Поставив МАЗ и умывшись, он чуть ли не заставлял себя обедать, прежде чем идти чертить. Случалось, что на работу он шел прямо из школы, спать не ложась. Меньше месяца - в четыре недели - закончил он все три домика.

А спустя день на трассе он потерял сознание. Это не было в полном смысле обмороком. Просто тупой волной от поясницы вдоль позвоночника, ширясь, захлестывая плечи, шею и голову, покатила боль. Медленно и неостановимо. Перегову успел вытолкнуть рычаг на нейтраль и отключить массу. Отпустило скоро:

выступила графика кабины, реальность лобового стекла и, вместе с прохладой и звуками, мягкая дождевая живопись. Несколько минут сидел Перегодов, чувствуя спину судорожно сведенной. Пока не сообразил, что это страх прокатившейся боли не дает ему вольно двигаться. Бережно, весь настороже, попробовал он, как тонкий лед, свое тело на способность действовать. И, вздохнув с облегчением, запустил двигатель. Это был третий рейс за день, и, разгрузившись, он больше уже не поехал.

Никаких следов боль вроде бы не оставила. Но в глубине мозга, как представлялось, где-то под темечком, засела о ней память: тревожная аварийная лампочка или рычажок. "Может, врачи правы? — размышлял Перегодов над кульманом. — Или я слишком круто взялся — по четыре рейса?". "Надо передохнуть", — подумал он отвлеченно и до утра забылся.

Теперь Перегодов настраивался заняться интерьерами и мебелью. Он уже взлелеял в себе ожидаемое наслаждение и кое-что почти видел. Но тут, риторически постучав, вошел учитель. Следом два каникулярных неученика с выражением пятнадцатисуточников несли приличных размеров трубу свертка и посылочный ящик. Повинуясь указующему жесту, носильщики освободились и радостно унеслись, полнясь даже любопытствовать. Ватман трех форматов оказался и впрямь замечательный — Перегодову и в лучшие времена не часто случалось на таком работать. А когда огромный лист, заняв все поле, разлился белизной под чертежной линейкой, стало ясно, что существует он для проекта нового поселка с коротким и глупым

названием Калым. Перегодов обходил доску кругами и думал об абсолютно новых для него проектах магазина, станции, клуба, еще чего-то, без чего поселок не сможет существовать, — например, бани. Его даже смутила на миг такая утилитарная привязанность. Но он отkreстился тем, что работает для себя, а все остальное — дело случая. В ящике была готовальня — в пропорцию хорошая и дорогая, удобные необходимые краски и квалифицированный набор ластиков и карандашей. А еще — два иностранных журнала с отмеченными статьями по такому как раз вот строительству. Сопроводительное письмо осталось, видимо, у учителя и для Перегодова не предназначалось.

Интерьеры были отложены. Они во многом теперь зависели от того, где будет стоять дом.

4

Спина о себе напомнила. И хотя Перегодов стал делать не больше двух рейсов в день, а то и по одному, над доской он засиживался все дольше. Приступы были слабее первого, не так неожиданны и только за рулем. Но тихая боль незаметно сделалась постоянной.

Поселок не торопясь находил свое место; устраивался и обживался, поднялся вплотную к станции и принес Перегодову сомнительное удовольствие проектировать вокзал. Зато круто в стороне осталось всяческое производство; и это радовало.

Когда поселок уже в общем расположился на ватмане и Перегодову стало ясно, чего же он

хочет, он занялся магазином, клубом, вокзалом, гостиницей (так вот Перегодову захотелось: чтобы общежитие приняло вид гостиницы).

В один из вечеров пришел директор леспромхоза. Поздоровался, огляделся и, буркнув: "Разреши", — начал раскладывать проекты домов по подоконникам. "Ты работай, работай", — разрешил он и принялся ходить вдоль окон. Работать Перегодов, естественно, не мог и, сидя вполоборота, разглядывал сановного в своей деловитости человека. Директор — отец и хозяин Калыма — был отец и хозяин. Вот он собрал листы с обмерами, достал блокнот и стал что-то подсчитывать. Считал долго: присел на стол, задумывался, вычеркивал одни и вписывал другие цифры, вдруг оглядывался, забыв, где он и ища "нормы расценок", шевелил губами, ногами и пальцами. "И ведь как дешево!" — сказал он с нажимом и радостно. И подошел к Перегодову.

На большой доске, на поле ватмана был весь поселок. "Почему криво?" — строго спросил директор. Он говорил об улицах. Перегодов не делал улицы по линейке. Расходясь от станции веером, они ветвились, частью плавными дугами сходились в центре на площади, частью поворачивали к берегу, выходя к пляжу, к мосту — к реке. От площади, из центра поселка, улицы постепенно заплетались и стягивались, пока, слившись, наконец, в дорогу, не уходили к конторе, работе, лесу. Не дождавшись ответа, директор спросил: "Где контора?" Перегодов показал. "Почему?" — настырно, почти по-детски спросил директор. И Перегодов объяснил, что жить на рабочем месте можно только в

командировке, на чемоданах, а это не жизнь для нормального человека, и если нужно практическое обоснование, то ни производительности, ни надежности от такого человека ждать нечего, потому как, даже женившись и народив детей, не чувствует он себя нужным месту. А место близким своей душе. Директор сказал: "Я подумаю. Обсудим с товарищами". И еще: "Ты, как закончишь, скажи. Мы придем, вынесем одобрение. Официально. Мне нравится". И еще — уже от дверей: "На все мне денег никто не даст, но соцбыт: клуб с магазином, гостиницу и вокзал — построим. Свои дома пусть строят сами — в соответствии с проектом. А как вот тебе платить — не знаю. На много не рассчитывай. Ну — работай. Привет". И вышел — хозяин и благодетель. Перегодову сделалось весело. И он спланировал в клубе директорскую ложу.

Значительно проще ко всему отнеслись люди. В школу вечером ввалилось человек десять. "Дай дом", — один за всех попросил тракторист погрузчика, дважды в день грузивший переогодовскую машину. "Выбирайте", — сказал Перегодов. — "А почему эти строить здесь, а эти — здесь? — спросил кто-то. — А если я не хочу?" — "Больше света, меньше дров, красивее", — ответил Перегодов. — "А почему?" Пришлось объяснить подробнее. Внимательно выслушали, погудели, согласились. "А здесь еще комнату можно сделать?" — "Можно. Соберешься строиться, сделаю". — "А сарай сюда поставить можно?" — "Нет. Огород в тени будет, и дрова подвозить неудобно". — "Ладно, пусть стоит. А участки кто давать будет? А директор разрешит?" — "Разрешит". — "А лес откуда?" — "У

него спрашивайте". - "А?.." - "Мужики, мое дело - рисовать, все остальное - к директору. Я не в курсе". - "А-а, ну, понятно. Ты мне этот оставь, не отдавай". - "А мне - этот". - "Всем хватит. Не беспокойтесь". - "Ну, пока. А с собой взять можно?" - "Потом дадут-специально тебе, что ли, человек рисовал?" - "Ну, бывай. Привет". - "До свидания". Когда все вышли, директор школы сказал: "Если это получит развитие, быть мне директором десятилетки". И не понятно было, радуется он такой перспективе или заботится грядущими хлопотами. "Поживем - увидим", - пробормотал Перегодов, откладывая готовый проект станции и думая уже об интерьерах.

5

Следующие недели прошли как в тумане, толком и незамеченные. Директор дал добро, и распределялись участки. На специальной доске у конторы висел план поселка, перерисованный клубным художником, проекты и архитектурные рисунки домов. Знакомые с геодезией мастера леса планировали улицы, кое-кто уже вез лес и начинал строиться, и сами будущие жители с серьезностью играющих детей следили за соблюдением в точности переогодовского проекта.

Вряд ли это было совпадением - скорее неоконченная работа заставляла держаться. Машину Перегодова приволокли попутным трактором, а сам он очнулся уже в больнице. Остановиться на этот раз он не успел, но скорости на подъеме никакой, и МАЗ заглох, даже не покотившись. Так что для всеобщего обо-

зрения последний вариант мебели художник срисовывал сам, без автора.

Медицину в поселке возглавлял фельдшер. Правильнее – фельдшерица. Уютная, добрая женщина, делавшая больше, чем могла. Ее муж, врач на пенсии, тихо, но часто и помногу беседовал со своей памятью, владел бесценным печальным опытом травм и истощений. На просьбы жены он откликался с легкой готовностью, трезвел из любого состояния и консультировал точно и исчерпывающе.

Осмотрев Перегодова, старый доктор даже не спросил, когда была травма, он спросил, какой идиот допустил Перегодова к управлению тяжелым автомобилем. Потом, руководствуясь собственным опытом, задал несколько территориально-цифровых вопросов из ближнего переогодовского прошлого и на прощание пробурчал: "Вообще – какого черта вы делаете за рулем, вместо того чтобы заниматься архитектурой?!" И пошел к жене – давать указания и клянчить спирт.

Перегодов остался один. Задумался: "А какого черта?" То, что машина ему заказана, – это ясно. По той же причине он не сможет нормально работать слесарем. Остается и впрямь одно – заняться, наконец, делом, которое единственно у него всерьез получается и по-настоящему любимо. Но как? Без диплома его никто на пушечный выстрел не подпустит к профессиональной архитектуре. А любительской не существует. Значит, надо учиться. Но как раз это-то он уже пробовал! Во как напробовался! Теперь снова?! Перегодов разнервничался, и голову заполнила пульсирующая, оглушительная боль. Время потеряло очертания.

В палату вошла сердитая и этим расстроенная фельдшерица. Увидя посеревшего, перекошенного больного, она задернула шторы, впуская полумрак, и положила ему на лоб холодную влажную марлю.

Перегодов почувствовал, как его прошибает испариной, и вынырнул из грохота собственного пульса. "Ты что это? - спросила его добрая женщина. - Тебе сейчас покой нужен. Отдых, покой". - "Угу... - ответил Перегодов. - Спасибо..." Едва очнувшись от боли, он засыпал. "Так бывает при эпилепсии, - успел он подумать. - Этого мне только не хватало".

Спал Перегодов часа два. Проснувшись, он увидел колеблемый легким ветром сумрак, а в приоткрытую дверь заглядывала круглая голова механика. "Привет!" - сказала голова, и механика вдуло воздушным шаром в комнату. "Чего ж ты так?!" - механик выкладывал на тумбочку яблоки, шоколад, почему-то банку мясных консервов. "Тебе как, можно?" - он приподнял из внутреннего кармана бутылку коньяка. Перегодов вдумался, прислушался к себе: "Давай!" - и аккуратно приподнялся на подушке. Механик заботливо помог ему устроиться. "Ну, давай!" - механик хлопнул сразу, а Перегодов осторожно пил редкими глотками, побаиваясь последствий. У согретого полным кровным теплом коньяка вкус был густой и плотный. "Что с тобой случилось-то?" - механик, жуя, как хлеб, шоколад, укусил яблоко. Перегодов допил коньяк и все обстоятельно рассказал, чувствуя себя перед механиком виноватым. "М-н-да-а... - не обрадовался тот. - Чуть под монастырь не подвел. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Давай тяпнем под

это дело". Потом он рассказывал, что из центра собирается какая-то комиссия, но сбился с темы и обрадовал Перегодова щедростью директора к застройщикам, и вообще – поселок уже растет. За это тоже выпили.

Солнце ушло, и в зашторенной комнате сумерки загустели. "Слушай, – сказал вдруг механик. – Ты вот что – я тут на случай комиссии написал за тебя заявление..." Он покопался за пазухой и достал лист: "Чтоб в слесаря тебя временно, по состоянию здоровья, по личной просьбе... Ты вот подпиши..." И дал ручку. "Давай, – чуть пьяно сказал Перегодов. – Окно открой – ничего не видно". – "Ага, сейчас. Вот тут вот... Видишь: "по собственному... по состоянию здоровья..." Вот тут вот – подписывай. Во! А число я потом поставлю, когда комиссия приедет. Или вообще тебя на УАЗик пересажу, на рассылный, – механик распахнул шторы. – Вот. Ну, бывай. Еще тяпнешь? Ну, как хочешь. Я заберу, чтоб тут шуму не было. Выздоровливай!" И Перегодов остался один.

Ему было спокойно и хорошо. Он смотрел в окно и думал, что уже совсем осень, что за лето он провернул гигантскую, в общем-то, работу и раньше, до всего, вряд ли был способен на такие подвиги. Наверное, длительное – в этом смысле – безделье аккумулировало силы, и сейчас они выплеснулись; и еще он думал, что все происходит к лучшему и, потеряв профессию шофера, он вынужден будет исхитриться и получать как-нибудь диплом и сможет официально, по-человечески, заниматься любимым делом. А сейчас – это просто удачный повод основательно отдохнуть.

Переогодов задремал и не слышал, как приходила нянечка – она же единственная больничная сестра. Открыв в залитой луною темноте глаза, Переогодов увидел на тумбочке большой аптечный стакан с молоком, накрытый ломтем белого хлеба. Куснул пару раз обветрившуюся мякоть, выпил молоко, удивясь маслености, и уснул, сопровождаемый сонным видением, будто пьет, черпая стаканом из потока, лунный свет.

Две недели провалялся Переогодов в больнице. А когда начал, наконец, подниматься, выяснилось, что "о выписке не может быть и речи". Ставшего "транспортабельным" Переогодова отправили в райцентр на лечение.

Райцентровская больница забита была сверх всякой меры. Но какие-то неясные силы устроили Переогодова в двухместной палате, – он оказался только третьим, и больше к ним никого не клали. Весь месяц каждый день так забит был процедурами и анализами, что воскресенья – как после рабочей недели – уходили на отдых и сон. А через месяц Переогодова выписали.

6

То, что он уволен, Переогодова озадачило и возмутило. Но когда он прочел на доске объявлений приказ о том, что уволен "по собственному желанию" и "по состоянию здоровья", а потом прикинул число, у него появилось собственное желание – разнести всю эту контору к чертовой матери и выпороть себя за глупость.

Ни директора, ни главмеха в поселке не было — оба уехали в отпуска. Отдыхать.

Вечером Перегодов изрядно напился в компании с доктором. Они сидели в палате пустой больницы, куда жена доктора привела бездомного Перегодова переночевать. Доктор ждал от Перегодова жалоб и ругани. Но, излившись после первого хмеля в длиннопериодной, многэтажной фразе, архитектор заговорил о шести домах, что стояли почти законченные, и вообще о новом поселке. Больше к увольнению не возвращались.

Тем не менее, Перегодов напился. Когда была выпита третья бутылка, а "добавки" непременно уже требовалось, доктор сказал, что сейчас придет, и вышел. Вернулся он минут через десять со спиртом. Перегодов за это время успел нарисовать дом с экстерьером дачного домика и планировкой рыцарского замка. "Она думает, что я прошу, потому что не могу взять сам, — сказал доктор, разбавляя спирт персиковым компотом. — Хо!.. Н-н... просто я не хочу ее лишний раз расстраивать". — "Расстраивать не надо, — согласился Перегодов, — все это спрячется под землей. А сверху — глупый карточный домик". И они выпили.

Проснулся Перегодов в постели, но — на полу. Кровати в больнице были панцирные, и доктор помнил, что доски с переогодовского ложа давно убраны.

Утром Перегодову дали в кассе двести семьдесят рублей под расчет, и больше ему ничего не причиталось. "А что вы думали получить?" — участливо спросили в бухгалтерии. Перегодов промолчал, поблагодарил и вышел.

Все его вещи – как только он попал в больницу – забрал директор школы. Сейчас они были умело и тщательно упакованы и уложены так, чтоб не искать. Поезд уходил вот-вот, и времени оставалось лишь попрощаться. Билет Перегодов взял сразу до области.

Часть II

1

Пригород плыл в голубовато-серебряном сиянии. Кончилась полночь шестого января. Густой туман Великого мороза прижался к низким крышам, затопив осветительные фонари. Мертвенный, диссонансный люминесцент вдруг превратил атмосферное явление в праздник. Всё сияло, как светятся звезды.

Перегодов подумал, что чудо – всегда чудо, и при таком освещении даже на эти улицы можно смотреть, не содрогаясь. А вообще-то, сляпанный из "скороспелых" щитовых домиков на шесть-восемь комнат (по семье в комнате и своя дверь), из бросовых вагончиков, балков-бочек, поселок был типичным "шанхаем".

Странное это жизнеобразование. Они существуют почти везде на окраине городов и везде – почти – зовутся шанхаями. Спора их происхождения – бактерия, палочка – известна: всё это строительные поселки. Надо строить на голом месте, и строителям нужно где-то жить. Ставят, естественно, что попало, лишь бы на голову не текло. И живут, пока строят. Но поселок еще не шанхай. Произойдет это, когда,

шагнув дальше, стройка уведет своих работников за собою. А пародия на жилье, что давало приют строителям, не остывает, впитывает собственное, постоянное уже население и просыпается вдруг шанхаем. Надолго. На десятилетия.

Шанхай, как правило, не растут. Их даже уничтожают – постепенно, "по мере необходимости". А по нынешним временам их возле молодых городов порой и вообще нету. Но уж там, где есть... Вырваться из них удастся не многим – это верша, улица с односторонним движением. Те, кто освобождает место, перемещаются в небытие. И только бульдозер – решение. Ан, в кое-какой статистике жители шанхаев – владельцы отдельной жилплощади: за одною-то дверью – одна семья. По крайности – близкие родственники.

2

Работал Перегородов на удивительно мрачном предприятии. Промороженный, заиндевелый вокзал "цеха железобетонных плит" наполнен был глухораскатистым громом, скрежетом, предупредительными матами и звонками, клубами остывшего пара, сквозняком и рассчитан, кажется, на неостановочную физическую работу – иначе ничего не стоило замерзнуть до смерти. Но ничего – грелись, кто как умел: от одеколona до тормозной жидкости (премия за план не поминалась даже кадровиками). Назывался Перегородов механиком по подъемным кранам. Оба они – один в цехе, один на улице – работать категорически не хотели. Но, угробив по неделе на каждого, Перегородов привел их в

приличное состояние и работой был, пожалуй, не обременен. Правда, и заработками - тоже.

Поскольку других механиков в цехе не было, Перегоров, придя поздним вечером, осматривал свои краны и прятался в каморку - учиться.

Едва приехав в областной город, он отправился на поиски строительного института. И не нашел. Зато отыскался лесо-промышленный, со строительным факультетом. Перегоров подал документы на заочное и записался на прием к декану. Назвав в разговоре лесной поселок, он узнал, что перед ним друг директора школы, и поблагодарил за ватман. В институт Перегорова приняли.

Измучившись болотными холодами цеха, Перегоров забрался в бойлерные катакомбы и соорудил себе из немислимых обрезков и кусков комнату. Как-то начальник попросил Перегорова выйти в ночную смену. Ждали резких морозов и технике не доверяли. А вскоре Перегоров уже сам просился держать его в ночной постоянно. Механик он был единственный, ссориться с ним опасались и, хотя нарушение было налицо, постоянную работу ночью провели через бухгалтерию. Но не деньги волновали Перегорова. Просто жил он - в общезитии.

3

Трудно определить одним словом, что не устраивало Перегорова в общежитском существовании. В лесу летом он как-то ухитрялся не обращать внимания и пользоваться крышей

над головой, оставаясь довольным. Нынче же его – не устраивало. Только слово не вполне то. "Не устраивает" нас обычно нечто, что мы в силах переменить. Здесь была – каторжная необходимость. В окружавшем ЖБИ* шанхае снять угол было немыслимо. А в городе – далеко и настолько для Перегорова дорого, что пришлось бы думать о приработках, а на это ни времени, ни сил не было. Ночная работа – больше похожая на сторожение – сперва тушевала трудности. Но ко второму году жизни Перегоров от унижительной бездомности начал нервничать и звереть.

Соседи – возрастом и духовно значительно его моложе – были вполне нормальные, по всем меркам, ребята. Дети больших семей, рабочих поселков, армии, воспитанные коллективизмом, они бы, наверное, умерли, свихнулись от скуки и одиночества в отдельной комнате или квартире. Для них естественно и необходимо делиться своим наличием – музыкой, хлебом, проблемами – и делить чужие. Перегорова давил индивидуализм. Ему не нравилось, когда заглядывали к нему в книгу или жизнерадостно спрашивали, что это он спит днем в половине четвертого.

Достаточно правильно воспитанный, чтобы сформулировать, Перегоров, положив руку на сердце – все же не понимал, почему коллектив лучше, чем одиночество. Неодиночество, по его мнению, самая изощренная пытка, выдуманная человечеством. В карцере – сам с собой один на один – человек, в конце концов, откроет

* ЖБИ – завод железобетонных изделий.

собственные глубины, и, если там хоть мало-мальски что-то есть, хватит этого надолго. Но вынужденное, непрестанное, с перерывами только на сон, принудительное общение способно свести с ума любого homo sapiens'a с минимумом интеллекта. Так думал Перегоров, но допускал, что не прав, поскольку воспитанию это противоречило.

Спасла, в общем-то, занятость. Как ни абсурдно было требование зубрить то, чем наполнены справочники, но отвечать на экзамене следовало, и зубрить приходилось. А кроме... В лучшие еще времена Перегоров поймал себя на том, что чем бы ни занимался он, что бы ни говорил и где бы ни был, одна какая-то часть мозга всегда заполнена конструкциями, интерьерами - архитектурой. Со временем он ощутил даже топографию этого места: где-то в центре черепа, перед темечком, в глубине, на уровне глаз. Постепенно он научился все прочее делать достаточно автоматически: не рассеянно и не ошибаясь, но не отвлекаясь от главного, предоставив этому участку сознания обширнейшую, даже эгоцентристскую автономию. И как же весной и летом, гуляя, по видимости бесцельно, наполненный плодотворными размышлениями, завидовал он литераторам, которым вполне достаточно ручки и крохотного блокнота, положенного на собственные колени. А зимой Перегоров просто мерз.

Осколочный из-за зябкой сырости и вечного жилого шума утренний послесменный сон растягивался, поедая время и не принося отдыха. Вечер колбасно спрессовывался совсем уже улейной какофонией разгулявшегося общежития

или трудно необходимыми часами занятий в рамке стылых автобусных переездов. И когда Перегодов попадал, наконец, в единственно теплый, тайный от всех, истинно свой угол, он, разморенный, болезненно засыпал. Под органистику "системы промышленного парообеспечения".

4

За месяц до летней сессии на консультации произошел замечательный разговор. Преподаватель: "Переогодов, насколько я знаю, деканат хочет вам предложить сдать экстерном за два первых курса". В аудитории человек десять, реакций - радуга. Через час новость станет всеобщей - преподаватель доволен. "Все свободны, товарищи. А вы, Переогодов, останьтесь, обсудим кое-что по моему предмету". Скорость сборов обратно пропорциональна любопытству. "Товарищи, все свободны..." Приходится выйти. Закрыв плотнее двери: "Давай "на ты"?" Переогодов согласен. - "Значит, так... Закуривай... Мне дача не нужна - я лицо незаинтересованное... Что-то у тебя лучше, что-то хуже... Но... за два курса ты всяко сдашь... позанимаешься - за три сдашь... Но дело-то какое? Положено - не положено... М-н-да... Ну, в общем - борзые щенки на ватмане. Ясно?" Переогодов балдел. Преподаватель исходил потом. "Сквозит, замерзнет", - глупо подумал Переогодов и решил, что если не будут мешать, он согласен. Так и сказал. Маклер измученно выдохнул. Переставая, наконец, мокнуть, он вытащил бутылку коньяку: "Давай тяпнем". Ему это было - необходимо.

Семь должных экзаменов принимала специальная комиссия. На переогодовское счастье тот же преподаватель за три дня спросил, каких предметов он честно не знает. И потому все, что прямо касалось специальности, принималось всерьез и внимательно, а под это - и остальное... Взяв сразу после экзаменов отпуск, Переогодов уехал из города.

За день до выезда, уже с билетом и обжив вокзал, Переогодов зашел на рынок - без цели, просто "посовать нос". Этюдник был не желтый, как это привычно, а деревянно-красный, на тонких складных бамбуковых ногах. Стоил он нереально мало, был внутри девственно чист и с большим набором очень хороших кисточек. За кисти просили отдельно. Реально. Почти цену этюдника. Переогодов расплатился, прикинув, что после отпуска можно попросить аванс.

Билет пришлось продавать - на поездку уже не хватало. Но в лесу, километрах в шести, стояла брошенная охотничья избушка-"банька". Зимой ее иногда используют под ночлег браконьеры, вырываясь пострелять лося в нерабочее воскресенье. Летом же, как уверял Переогодова шанхайский старожил - "хрен ли в ней кому делать?!"

Насчет хрена старый бич был, возможно, прав. Но из шампиньонов, плотной пеной выступивших на нижних бревнах, Переогодов почти две недели варил всяческие соусы и подливки.

К баньке был приделан высокий - по стене - навес. Тек он немилосердно. Переогодов не торопясь - в два приема - свалил топором толстенькую березу, снял большими листами с нее кору и заделал пробоины. Теперь можно было на дождь не обращать внимания. Когда,

понарошку пугая темнотой, ночь собирала сумерки, Перегоров читал или рисовал домики угольным карандашом.

Здесь же, в лесу, Перегоров сделал лучший, как ему показалось, свой дом. Однажды ему подумалось, что по этим местам дом должен быть, пожалуй, не крепостью или замком, а домом крепкой, дружной семьи.

Северный скат, если смотреть на все сверху, выглядел веретеном и начинался у самой земли крышей собачьей будки. К югу расположились птичник, хлев, амбары. И к жилью вся постройка расширялась, как корабельные обводы. Этой же мягкой линией очерчены были границы дома, сходящиеся к южной стене. Но привычной стены — не было. Дом завершался совсем уже круглой полубашней, открытой солнцу множеством разнообразных окон. С севера скат крыши, опять сужаясь и лиственно подвернув кромки, прикрыл винтовую лестницу.

Ни открытия, ни переворота Перегоров не совершил. Но чем глубже, подробнее планировал он этажи, комнаты, переходы, тем больше дом ему нравился, тем лучше он его понимал. Невероятно, но в две недели готово было все. С мебелью и интерьерами. Правда, следом отозвалось недоспанное, и двое суток Перегоров поднимался только поесть. На третий день он вспомнил, что отпуск кончился.

Часы с календарем стояли неделю, и из отпуска Перегоров опоздал на три дня. Но краны рабстали, и никто не заметил его отсутствия. "Семейный дом" Перегоров отнес на кафедру, сдал авансом за курсовую работу и ждал теперь отзыва. Волнений в связи с этим не испытывал. Его вдруг потянуло на промышленное

строительство. В учебном плане эта тема все равно стояла, и хотя он не был уверен, что лесопромышленники примут цех ЖБИ, но почему-то именно его захотелось сделать. После кое-каких поправок к зимней сессии проект приняли.

С января начались разговоры о реконструкции. Кому-то из начальства пришла в голову спасительная идея свалить все недостатки цеха на устарелость и немеханизированность и получить с корректировкой плана приказ о модернизации производства. Перегодов в это время был на сессии. А когда пришел, то единственным признаком грядущей модернизации было то, что работать перестали уже полностью и совершенно. Оглядевшись и вдохнув парфюмерно-перегарного воздуха, Перегодов несознательно пожал плечами и полез к себе в бойлеры.

До весны ничего не изменилось. Перегодов опять готовился сдавать экзамены экстерном и пропадал в институте; ни в закутке на работе, ни тем более в общежитии развернуть лист ватмана он не мог. Иногда тоскливыми волнами накатывало на него отвращение к себе и ко всем тем людям, для которых предназначались эти милые, удобные – и не дешевые в постройке – дачи, виллы-домики. Но он научился уже работать не только по вдохновению. А порой и попросту – халтурить, используя свои старые, к иным людям и местностям привязанные находки. Да и заказов было слишком много, думать особенно не приходилось, весенняя сессия увенчалась перемещением Перегодова сразу на последний курс. Это была, собственно, инициатива декана.

Лет на двадцать старше не юного Перегодова, начинавший когда-то подающим надежды архитектором, он сделал изрядную – и тяжелую – общественную карьеру, видел, что Перегодов из иного теста, и понимал: если вся эта не вполне чистоплотная история затянется, тот может бросить все к чертовой матери или выкинуть какой-нибудь фортель. Будучи вполне реалистом и отнюдь не "хлюпиком", декан изредка – бескорыстно и весьма отчаянно-могуче – вдруг помогал кому-то, если видел настоящий талант. Сам он это за собой знал и лелеял как простительную – и искупительную – слабость.

Что бы там ни было, Перегодову осталось полгода практики и государственные экзамены.

5

Реконструкция-таки началась, и в отпуске Перегодову было отказано. Больше того: главный инженер – мужик бесшабашный, но знающий – предложил Перегодову прорабство на монтаже механизмов. Институт согласился принять это как производственную практику: факультет-то был все же строительный, а не чисто архитектурный. Лето выкипело в непривычных, но увлекательных заботах. Перегодов-механик был доволен, что, хотя техники и прибавилось, но механизмы были надежны и отлажены; Перегодов-прораб исполнен был радостного удивления удачно сделанным незнакомым делом; и только Перегодову-архитектору претила вся эта кутерьма из-за бесплодно потерянного времени.

Подошла осень. В цехе еще заканчивали монтаж теплофикации. Перегодов бездельничал. Но отпуска не предлагали, да и сам не хотел. Через день показываясь для порядка, Перегодов бродил по городу с блокнотом и набором фло-мастеров. Заходил то в кино, то в холлы городских присутствий, то в забегаловки. Злясь на себя, что ничего не приходит в голову, заставляя хоть что-то делать, набрасывал куски интерьеров, паркеты, эскизы мебели. А как-то в кино он познакомился с судебным исполнителем.

Это был небольшой, средних лет человек цвета маренго. Он был чист, аккуратен и столь гармоничен в своем колере, что, оказавшись на улице, растворялся в морозящей осени, без швов сливаясь с нею.

Сидя в фойе кинотеатра, он заглянул в блокнот через плечо Перегодова и, ненавязчиво извинившись, сказал, что если у стула такая линия, то шкаф надо, видимо, вот так... Перегодова удивило, почему шкаф под стул, а не наоборот. Собеседник титульно, но кратко представился и изысканно пояснил, что стул более сложный и важный предмет мебели, поскольку, во-первых, весьма обусловлен удобствами, а во-вторых, должен быть эстетичен и гармонизировать в любой точке комнаты со всеми предметами и не зависеть от освещения. Мысль была не революционная, но хорошо сформулирована, и Перегодов обрадовался. Он тоже представился, и завязался сдержанный, чуть переполненный светскостью разговор. Перегодов показывал зарисовки, а неожиданный его знакомый изредка четкими картографическими движениями высказывал собственное

мнение карандашом. Там, где Перегоров набросал встреченные абсурды и безвкусицы, они вместе, передавая друг другу карандаш, доводили их легкими штрихами до гротеска, обнаруживая общность в зрении. На фильм все же пошли.

Показывали психологический детектив, и новый знакомый Перегорова то и дело хмыкал, а пару раз пробормотал что-то сердитое, почти злое. Вышли в свинцовую осеннюю светлость, и Перегоров, имея в виду хмыканья собеседника, спросил: "Что, сильно наклеплено?" - "А-а! Чушь, - отмахнулся судебный исполнитель. - Их самих под суд отдавать надо. И потом, так вести дело - черта с два они б когда-нибудь да кого-нибудь поймали!" - "А на самом деле?" - "Ай! Тоже... Только - не кино - результат плачевнее". - "Приходится сталкиваться?" - "Работа", - пожал плечами юрист. - "А интерьеры, мебель?" - вспомнил вдруг Перегоров. - "О! - юрист оживился. - Это мое, что называется, хобби. Душевное влечение, говоря по-русски. И опять, знаете, благодаря работе. Я специализируюсь на описи имущества. Чего только не нагладишься".

Расставшись у городской автостанции, они через день встретились снова и скоро уже начали общаться регулярно, поджидая друг друга в единственном подходящем кафе маленького города.

Собственно, встречи были почти случайны. Перегоров бывал вечерами занят в мастерской института; судебный исполнитель оказался отцом двух детей и главой семейства - такого же аккуратного, сдержанного и изысканно вмаскированного в жизненный пейзаж. Но ра-

ботать "за так", "на дядю", Перегодов соглашался все реже, а его приятель жил от кафе через улицу, так что виделись они часто. Говорили про что угодно, в основном об искусстве. Но иногда — очень редко — вдруг кого-то из них прорывало, и вечер превращался в философский или нравственный монолог. Случалось это в основном с Перегодовым, а приятель его, если и позволял себе что-то такое, то в форме обсуждения очередного случая, когда описывать приходилось квартиру с богатейшей коллекцией, например, икон, сваленных в кучу, или библиотеку нечитанных книг.

Но однажды, уловив подходящее настроение, Перегодов спросил, почему вдруг юрист с высшим образованием работает простым судебным исполнителем — должность едва ли не низшая, по мнению Перегодова, во всем делопроизводстве. И приготовился выслушать биографический очерк. А получил — нравственно-философское изыскание.

Выяснилось, что его приятель — юрист, так сказать, наследственный: не только родители, но и деды с обеих сторон были один прокурором и судьей, второй — стряпчим. Закончив университет, внук их работал сначала в суде, после — в прокуратуре, учился в аспирантуре заочно, но диссертацию не защищал: бросил недописанной и ушел работать туда, где специальность его давала хлеб и не приносила с собою ответственности.

"Понимаешь, — они уже давно перешли на ты, — сам подход, понятие юриспруденции в мире поставлено с ног на голову. Право — это не род занятия, не профессия, даже не искусство. Это — мировоззрение! Юриста можно

сравнивать только со священником, который занят единственно интересами своего клиента и приводит их в соответствие с единственно верным и истинным звучанием высшего Порядка. А у нас вся юриспруденция сведена к пенитенциарной системе, к каранию, да если бы только сведена! Она подчинена ей! Карание объявлено главным и самостоятельным в Праве. Бред!..

Ну, вот смотри: давай возьмем всю шлакоотводную систему человеческого организма и дадим ей самостоятельную жизнь – выделим вон. Прямую кишку, мочевого пузыря, почки – пусть живут сами...

Если право – человеческий организм, то, потребляя какое-то внешнее питание, он то, что потребляет, очищает от вредного, крепнет и производит БЛАГОтворные, полезные действия. А вредное – откидывает в сторону. Причем, заметить, откидывается – откладывается – в том виде, в каком это можно утилизировать и опять-таки обратить в пользу.

Теперь давай потребление и работу оставим, а всю эту "канализацию" выделим жить самостоятельно. (Чушь, но в качестве бреда.) Что получится? Чтобы жить, эта организация – а питалась она со всем организмом в целом – начнет просто паразитировать на чем попало, тянуть соки. И соки, заметить, питательно чистые: перерабатывать она их не умеет; ими будет пополняться, от них расти. А продолжая же функционировать – в этом для нее смысл существования, – она, не умея выделить и разобраться – не в ее это функции, – будет просто все, что попало, перерабатывать в шлак. Переводить в дерьмо всю окружающую действительность".

"Мрачненькая перспективка..." - пробормотал Перегодов, привыкший мыслить образами. - "Хм! При чем тут перспективы?! - был ответ. - Действительность. Права в мире - нет. Есть усевшаяся на Право гигантская пенитенциарная система. А ведь кара - это функция для Права побочная, вынужденная, а отнюдь не главная".

"На-да-а, - качнул головой Перегодов, - с такими мыслями из тебя прокурор тот еще... Ну, а если ты прав, в чем дело?" - "А ни в чем. В подходе. На юриспруденцию смотрят как на изобретение, творение рук человеческих. А Право - это Закон Природы!" - "Хм, как электричество?" - "Как электричество. И подход к нему должен быть такой же. Вся история электричества - это гать из трупов. А сейчас моя двухлетняя дочь безопасно играет с батареей-кой, которая, вставь я ее в приемник, свяжет меня со всем миром.

Право надо изучать, учиться с ним обращаться. А пока оно только бьет. Знаешь, забавная ситуация: по-моему, большинство явлений природы человек начинает приручать, используя сначала их отрицательные проявления. Падая, камень может убить, и его сбрасывают на зверя. Ядерная реакция обладает жуткой энергией, и делают атомную бомбу... Ну, et cetera. А уже потом, постепенно, по мере познания - строят дома и атомные электростанции".

"Ну, постепенно - это хорошо. - А пока? Сейчас что делать? Как использовать твое Явление Природы в мирных целях?" - спросил Перегодов. - "Трудно сказать. Мне кажется, что пока, сейчас, надо хоть как-то ограничить пенитенциарную систему. Поставить ее под контроль, чтобы Право могло свободнее

развиваться. В исследованиях, как наука. Причем орган этот – контроль – ограничительный, должен быть построен на принципе более совершенном, более высоком, чем нынешнее Право, то есть насколько мы о нем знаем”.

6

Госэкзамены назначили в феврале. Прочтя объявление, Перегоров вышел из института и в бездумной задумчивости пришел зачем-то на междугородний телефон. Оглядевшись, он разменял три рубля пятиалтынными, задвинулся в будку и набрал по памяти номер в Родном Городе – телефон одного из друзей. Сначала его не узнали. Потом обрадованно изумились и засыпали вопросами. Главное – почему не возвращается, не приезжает? Едва успев – на последней монете – сказать адрес, Перегоров повесил трубку и вывалился из кабины. Был он потный и радостно-хмельной.

Через неделю Перегорова завалило письмами. Его нежно любили, ждали, звали. Хотя бы погостить. А он тем временем вел переговоры с архитектурным управлением о месте дипломированного архитектора. В отделе гражданского проектирования было одно место. Руководил операцией декан, и все уже было на стадии оформления. Получив учебный отпуск, Перегоров полетел ”домой”.

Родной Город встретил Перегорова белой, мягкой зимой, радостью и улыбками. Всю неделю его буквально передавали с рук на руки, но старались не рвать на части и позволять общаться с кем он сам хочет, в том числе с

Городом и собой. Искренне и с сочувствием радовались, узнавая, что вот-вот будет диплом, образование и – главное – такое "в яблочко" место работы. С уважением и профессиональной завистью смотрели листы сделанного за два года.

Обсуждая варианты и смысл возвращения, Перегодов вдруг сформулировал, что, имея возможность работать по-настоящему, он все равно пока занят, некоммуникабелен. А раз в два-три месяца, на неделю-другую прилететь в гости проблемы, видимо, не составит – от двери до двери получается примерно четыре часа.

Вернувшись, на вопрос приятеля: "Ну, как?" – Перегодов выдохнул: "Здорово!" Но неделю ходил потерянный и физически нездоровый.

Однако вплотную подошли экзамены, с приездом из головного ВУЗа членов комиссии возникли трения из-за экстерна, и пришлось пересдавать "марксизм", хандрить стало некогда, а со здоровьем Перегодов давно уже научился договариваться.

7

Неожиданно экзамены перенесли с начала февраля на середину, а сразу вслед – через день – на двадцатые числа. Перегодов еще раз – на три дня – слетал в Родной Город. А потом пришлось занимать денег, чтобы дожить, и укорять себя за неразумность таких частых поездок.

Госэкзамены сдавал на редкость легко и диплом получал, как зарплату. Только ве-

чером, ближе к ночи, в разгар выпускной пирушки – совсем студенческой по настроению и атмосфере, хотя большинству было под пятьдесят, – Перегоров забился в угол, вынул твердый дипломный складень и, прочтя написанное "архитектор", почувствовал, как сдавили горло пятнадцать отсчитанных лет.

Приятель со стряпческой тщательностью, буква за буквой, прочел диплом, покрутил в руках "поплавок", который Перегоров носил в кармане, и быстро, без брызг, опустил его в коньяк, воровски налитый в кофейные чашки. Выпили. Перегоров чуть захмелел и расслабился. Он вдохновенно и радостно стал набрасывать светлые перспективы ожидаемой деятельности и поделился мечтой-идеей: выбить со временем разрешение на участок и, взяв ссуду, построить собственный дом. Все это было так хорошо, что не верилось, и поэтому Перегоров подводил строго практическую, реальную базу. Приятель поддакивал, сочувственно улыбался, но на вопрос, сколь, он считает, все это реально, – ответил: "М-м... вполне. Ничего фантастического в этом нету. Только знаешь... По-моему, человек должен жить на родине, дома..." Перегоров задумался.

"Да, ты прав, наверно. Но, понимаешь, жить, только чтобы жить... Н-не-а, это я не могу. У меня дело. Мое – дело. Им я живу и без него ничего из себя не представляю. А ТАМ у меня возможности нет и не будет. А здесь – есть. А летать время от времени, когда очень захочется... Пообщаться, побродить по городу – по problem. Все равно, когда я работаю, я неделями никуда не хожу и никого не вижу. Это и раньше так было. Даже лучше: меньше поводов

отвлекаться". - "Н-ну, смотри, - пожал плечами приятель. - Может быть, ты и прав".

Часть III

1

В марте начались неприятности. Сначала легкие: в архитектурном управлении произошла какая-то заминка, и декан посоветовал Перегодову пару месяцев поработать строителем. Даже подсказал - где. Цех плит продолжал перестройку территории, и главный инженер наверняка будет рад взять Перегодова на пустующее место. "Заминка, - уверил декан, - максимум два месяца". Пришлось согласиться.

Началась обычная прорабская жизнь: ругань и беготня за поставщиками и смежниками, и опять - ругань и беготня. А когда удалось собрать на площадке все материалы одновременно, оказалось, что у бригады аванс, и бетон стыл, подмигивая глазами бутылочных доньшек. Кончилось тем, что один изнахалившийся бич послал Перегодова: "На! ...!" - кичась отсиженным годом (по тунеядке), и - получил в морду. Не очень умевший драться Перегодов рассвирепел настолько, что ярость была холодной, неостановимой и контролируемой. Скотобойным ударом в лоб он выбил наглеца за дверь теплушки и, выйдя следом, с соответствующими тексту интонациями сказал все, что считал нужным: и о "козле в стойле", и о "месте у параша", и еще кое о чем не менее вразумительном. Бич тут же тихо уволился, а

бригада сказала, что "все мы взрослые люди, давайте друг друга уважать". И работа наладилась.

К концу мая Перегодов закончил перестройку территории. Из управления новостей не было. А главный инженер уже заседал с новым заданием. Оказывается, решено было перестроить весь цех полностью. Как предварительная идея наметился проект сданной Перегодовым курсовой работы. Ждали утверждения. Через главного инженера декан позвал Перегодова зайти — виделись они теперь редко.

Успокоив Перегодова тем, что дело хотя и затягивается, но верное, декан заговорил о проекте цеха. Проект отличный, но могут не принять — у Перегодова нет веса. Поставив свою подпись, декан "добавил необходимую массу", тем паче что и на самом деле в проекте есть немало его труда, вплоть до практических исправлений. Было это так верно, что Перегодову стало неловко: почему он сам не додумался предложить. Формальный руководитель только на защите-то проект и увидел — был в отпуске.

2

Дальше события развивались с бредовой быстротой. В середине июня друг-юрист сказал Перегодову, что в связи с новыми веяниями, похоже, с полдюжины отцов города скоро попадет под суд. А ровно через неделю декан в "Жигулях" прикатил на стройку, велел Перегодову садиться и, безмолвно заехав на проселок, заговорил мрачно, жестко и непри-

язненно: "Вот что, слушай внимательно, со дня на день тебя вызовут к следователю. Спрашивать будут о людях, которых ты не знаешь. И слава Богу. Еще будут спрашивать о проектах. Так вот: ЭТО ТВОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ - и ничего больше. Понял? Надеюсь, ты соображаешь, что это в твоих интересах тоже? Кстати, под проектом цеха твоей фамилии нет. Почему, думаю, понимаешь. И вообще - ты бы... Ладно". Доехали обратно и расстались молча.

Еще через день Перегодов сидел у следователя. Молодой, симпатичный, но нахально-напористый парень отобрал подписку о невыезде и начал запугивать статьями за дачу ложных показаний и отказ от них. Перегодов молча выслушал неразумные требования черт-те каких признаний, назвал несколько статей уголовного и процессуального кодексов, отказался общаться со следователем и потребовал лист бумаги для жалобы прокурору. Следователь закаменел, потом задумался, потом извинился и вышел. Вернулся он минуты через три замкнутый и напряженный. Подписал Перегодову пропуск на выход и вручил повестку - явиться через день.

Вечером Перегодов сидел в кафе с приятелем. Выслушав все и узнав фамилию следователя, юрист, усмехаясь, сказал, что в общем-то это хороший парень, безусловно, талантливый, но совсем недавно пришел с оперативной работы - отсюда и стенобитный напор.

Следующий допрос у следователя разительно отличался. Встретив Перегодова, следователь - стоя, не садясь, - извинился и принял открытую стойку, предложив сразу бумагу для надзорной жалобы. Перегодов, естественно, отказался.

Далее выяснили, что никаких проектов, кроме учебных, ни по чьему заказу Перегудов не делал, ни с кем из названных лиц лично не знаком, декана, естественно, знает, отношения соответствующие студенту и учебному руководителю. Ничего существенного по делу показать не может. На прощание следовательно, чуть смутившись, сказал, что подписка о невыезде аннулируется. С тем и расстались.

Едва выйдя на улицу, Перегудов столкнулся с директором леспромхоза. Секунду оба стояли соображая: кто это? Потом поздоровались. После риторических: "Как жизнь?" – директор, вдруг что-то вспомнив, достал огромную записную книжку и сказал: "Вот, запиши: номер счета и номер нашей сберкассы. Семьсот пятьдесят я на тебя положил. А ты не берешь. Уже полпоселка выстроили". Он лучился от собственной честности и еще чего-то. Перегудов переписал цифры. "Ну, ладно, – заторопился директор, – я пошел, в трест вызвали". Трест был в соседнем здании. Глядя вслед директору, Перегудов облегченно вздохнул.

3

В конце июля главный инженер получил утвержденный проект нового цеха. Перегудовской фамилии не было. Проходя на следующий день мимо профкома, Перегудов узнал о горящей индивидуальной путевке в Евпаторию и пошел к главному просить отпуск.

Главный инженер, и без того печальный с похмелья, погрустнел еще более. "Уезжаешь", – обреченно вздохнул он. – "В отпуск же!" –

бодрячком воскликнул Перегодов. – "Брось ты... Уезжаешь, – и задумался. – Даже не выпили ни разу вместе". Перегодову тоже стало грустно. "Вот на отпускные и выпьем", – сказал он. – "Знаешь что, – оживился вдруг главный. – Давай вот так: за тот год у тебя отпуск не гулян, за этот и еще стажевой – три месяца отдохни, продышись и – возвращайся. А?" – "А что? – улыбнулся Перегодов. – Давай". – "Пиши! – на три месяца", – великолепно начальственным голосом произнес главный. А когда Перегодов был уже в дверях, главный прежним печальным тоном сказал ему в спину: "А не захочешь – пришли заявление и адрес, куда трудовую выслать. Сделаю". – "Спасибо", – не поворачиваясь, сказал Перегодов и вышел.

Часть IV

1

Перегодов ходил по комнате голый и ничего не мог с собой поделать. Никак не мог он насладиться, насытиться нежной, всерастворяющей, почти эротической теплотой евпаторийского воздуха, летящего в открытые гостиничные окна.

Он помог ветру поднять занавески, с удовольствием посмотрел на тенистую улицу и принялся облекаться в свежесть легких брюк и рубашки. На ноги надел подметки с невообразимой малостью ремней.

Евпатория плавала в жарком воздухе, сберегая в подмышках улиц прохладную тень. Пе-

регодов с обезоруживающим нахальством пользовался служебной лестницей и потому выходил в улочку под свои окна, а не парадными дверями на раскаленную площадь, исхлестанную слепащими полосами трамвайных путей. Оставляя трамвай истерично повизгивать, он нырял в старый город, как в приснившийся коридор.

Улицы старой Евпатории родственны тысячам мусульманских улиц-щелей и пригодны для крепостной обороны и полуденного грабежа прохожих. Собственно "родных" – татарских – домов оставалось плачевно мало. Что от времени развалилось само, а что – не само из-за времени. Но строят на том же месте, в строгости прежних границ. Да и окон на улице смотрит, как и прежде, мало.

Старая Евпатория – до жутковатости лабиринт. Но что уж совсем привело Перегодова в состояние экстаза и сделало для него город ценнейшим в мире, так это улица, пересекающая самое себя дважды. "Если на клетке слона прочтешь надпись..." – бормотал Перегодов в ...надцатый раз, стоя на перекрестке, где со стен восемь раз повторялось одно название. Пять минут назад он ушел с такого же перекрестка в другом месте. Улица была та же. На третий день Перегодов взял большой обломок природного мела и прошел улицу от начала до конца. Собственную линию он пересек дважды. "Все правильно – город сошел с ума", – заключил Перегодов и был совершенно счастлив.

На опушке Старого города реставрировали мечеть. Автором, по преданию, был тот самый турок, что превратил константинопольскую Святую Софию в стамбульскую Ая-Софию. Здесь зодчий строил с нуля и набело, хотя размером

– меньше. Очень хотелось бы сравнить. Но в Стамбуле Перегодов не был, а чертежи и планы здешнего здания еще только предстояло достать.

И в линию с мечетью, в дальнем конце не длинной улицы, совсем уж похожий на Царградскую Софию с картинки в школьном учебнике, стоит Православный храм с куполом – синее неба. Приземистая воздушность, массивная невесомость, парадоксальность ощущения и материала. И с паперти видно море. Стоя спиной к замкнутой двери, Перегодов сквозь неширокую улицу выплывал на простор.

Очень скоро местная паперть сделалась для Перегодова любимым местом общения с морем. Стоять на берегу и не купаться было бы глупо. Плаванью и нырнью существует реальный предел, да и скучны столь меркантильные отношения. А тратить время на загорающие оказалось до того абсурдно, что пришлось тут же от этого отказаться.

На штевне паперти хорошо думалось. Скоро Перегодов пришел с этюдником. Тут его посетили соображения дозволенности. Ища, у кого бы спросить, он обошел церковь и оказался в просторном, но уютном зеленом дворе. Какие-то люди отвечали на его поклоны, женщины, занятые в глубине двора стиркой, поглядывали на Перегодова, но никто не приставал с расспросами. Из дома, не видного в зелени, вышел священник в полотняном подряснике, человек немолодой и в жизни – подумалось – замкнутый. "Здравствуйте, – сказал он растерявшемуся Перегодову. – Вы хотите писать с паперти море? Можно. Только в часы, когда закрыта церковь. И старайтесь уходить в

четыре-полпятого – пока не начали собираться прихожане. Господь вас благослови!” – и пошел весь в каких-то своих мыслях. У Перегорова было ощущение, что он побывал на гипнотическом сеансе. Вконец потерянный выбрался он со двора. Церковь парила в солнце.

2

”Слушай, дорогой, третий день смотрю – хорошо рисуешь, а? Красиво рисуешь. И все – правда. Все правда, слушай, а этот дом зачем так – а?” – ”Пятый”. – ”Что – пятый?!” – ”Пятый день смотришь, – Перегоров положил кисть и обернулся. – Так что тебя в этом доме не устраивает?” Большеносый кавказец одних примерно с Перегоровым лет и комплекции пристально смотрел на планшет. Серая, с душком трущобности коробка дома у Перегорова выглядела явным модерном восточного толкования. ”Ц! Смотри”, – кавказец достал из нагрудного кармана, развернул и бережно поставил на этюдник открытку-фотографию. Сделали ее, похоже, еще в начале века на толстом обнадеживающем картоне, сняв дом с того же, примерно, места, только не с паперти, а чуть ниже – с площади, от ступеней. Ошибся Перегоров в нескольких деталях современного оформления (но кавказцу было ясно, кажется, что фотографии он не видел). ”Откуда знал – а? Архитектор – а?” – спрошено было почти сердито. – ”Хм... – Перегоров изучал фотографию. – Угу... архитектор... Это его во время войны так, что ли?” – ”Да. В войну. Вдоль стреляли. Справа стреляли, слева стреляли –

все снесли. Но сделан как? - а!?! Все снесли - дом стоит! Жить людям негде было, дыры за-лепили и поселили - временно. С сорок шестого года - временно. Все временно, временно... У меня там друг живет. Родился там. Я в гости к нему приехал - внук у него родился... Ц! - временно". Перегодов разглядывал фотографию. Кавказец заглянул через плечо: "Восток, понимаешь, - пышности побольше, вкуса поменьше... Дом жалко - хороший дом был". - "На-да-а", - вздохнул Перегодов и достал сигарету. Собеседник потянул его за локоть: "Отойдем, слушай. Нехорошо - почти в церкви стоим". Спустились и закурили. "Отдыхать приехал? А сам откуда? Где работаешь?" Перегодов в двух словах рассказал.

Выслушав, новый знакомец с минуту помолчал, глядя то на перегодовский рисунок, то на дом, то на море и дальше, сквозь невидимую в белесом мареве линию горизонта, и наконец сказал: "Слушай, хочешь - интересное покажу, а?" - и с кавказской непринужденной напористостью Перегодов был затащен в многострадальный дом. Хозяин - русский гигант с породисто-черными бровями и ресницами - принял его так, словно был удивлен долгим отсутствием. Согласиться, судя по внешности, что гигант - дедушка, было физически невозможно. А он геркулесово хмыкал и говорил лишь, что дочь только повторила родителей - дай ей Бог повторить во всем. Это был тесный, как муравейник, дружный, уютный дом. За окнами было море, и когда Перегодов, сидя за столом к окну боком, левым глазом видел море, а правым - хозяина, он думал, что эти двое созданы жить друг подле друга.

Разговор прыгал с пятого на десятое, из нескончаемого кувшина лилось нежное, предательское вино, и кавказец чуть бесцеремонно показывал другу планшет с домом, приставлял к ребру фотографию и изумленно цокал. Он оказался главным архитектором маленькой теплой республики, пухнувшей на курортах. Звать его по имени, которое у Перегорова путалось то с бархатом, то с кушеткой, не получалось, и кавказец — умный и необидчивый — сказал наконец смутившемуся Перегороду: "Слушай, у нас к равному есть обращение: джан. Это как дорогой, но не совсем. По-русски совсем правильно — это "брат". Зови меня — брат. Мне будет приятно". И они расцеловались и выпили.

Потом они оказались на улице и долго гуляли по ночному уже городу. И лишнее вино быстро улетучилось, оставив лишь терпкость и радостное ко всему отношение. И в пятый раз подойдя к гостинице, они наконец отправили Перегорова, договорившись с утра посмотреть его работы. В номере Перегород обнаружил, сняв со спины этюдник, что к нему крепко привязана двухлитровая оплетенная фляга с вином. Спал он — как в детстве.

Не то чтобы Перегород не помнил ничего утром. Он просто не проснулся еще, когда гости пришли. Пока он, фыркая и холодно задыхаясь, плескался под душем, журнальный столик — в номере был еще один стол — письменный, у окна, — сервировали зелено и вкусно. Запивали еду кефиром и чуть-чуть вином.

Откинувшись в кресле и закуривая, высокопоставленный коллега просительно глянул на Перегорова — не терпелось. Планшетов с собой

Переговых, естественно, не возил, но как-то приятель-юрист принес ему в подарок альбом. Огромный – шестьдесят на восемьдесят – и невероятно толстый, он был составлен из пятидесяти листов превосходного ватмана. Происхождение альбома из складов конфискованного имущества смущало Перегова, и некоторое время он им не пользовался. Но приятель уверил, что это не конфискат, а так называемое "бесхозное имущество", и совесть Перегова – в данном случае – чиста.

Тщательно, почти с коллекционерским вождением, Перегов переносил в альбом все, что он считал лучшим за эти годы. Занято было всего пятнадцать страниц, и на восьми из них – поселок.

Просматривая работы, кавказец все больше сосредотачивался и мрачнел. Несколько раз возвращался он к поселку. Наконец, отошел от стола, сел в кресло, закурил. "Слушай, дорогой, а что тебя там держит, а?" Представляясь у церкви на площади, Перегов не вдавался в подробности и сказал только, что недавно получил диплом и работает прорабом. Ничто Перегова не держало, и Главный Архитектор насел.

"Слушай, брат, – взмолился к вечеру Перегов. – Ты, ей-богу, вокруг меня, как вокруг девушки, ходишь!" – "Правильно!!! – даже обрадовался кавказец. – Как невесту уговариваю: под окнами ходить буду, на колени встану, хочешь – цветы подарю!" Перегов жалобно взглянул на гиганта. "Подарит", – изрек тот. "А почему, – продолжал кавказец, вскочив из кресла и качнувшись на каблуках. – Потому, что ты мне – нужен, моей республике – нужен,

моему народу – нужен; потому, что ты – Мастер! Поехали, слушай, а?!?” Перегодов изобразил затравленность: “Ну, поехали...” – “Ай – молодец!!! Слушай, давай билеты, а то передумает!” – “Не передумаю, – уже нормально сказал Перегодов. – Поехали”, – и про себя вздохнул.

3

В самолете Перегодов слушал: “Сначала будешь жить у меня. Неделю, две, месяц – сколько захочешь. Как гость. Потом будешь жить на своей квартире – как хозяин. Ключи вот. – Архитектор хлопнул себя по карману и продолжал (по мере приближения к дому акцент его заметно усиливался). – Две комнаты: мастерская и спальня. Телефон. Ватман-шматман, планшеты-маншеты – все есть. Трубку снял – принесли. Нет – город у нас маленький: твоими ногами в любой конец три шага будет. Работай. И не спеши. Архитектура тебе непривычная, оглядывайся, привыкай и думай-думай-думай – торопиться не надо”.

Коллеги встретили Перегодова так, что он растерялся. Никто не собирался к нему приглядываться, не смотрел свысока, не чуждался. Ему – обрадовались. Обрадовались, что он в дружбе с начальником, – они все были в дружбе; обрадовались, что он хороший архитектор, – они все были хорошими архитекторами; обрадовались, что у него свежий глаз, – они привыкли уже к своим ошибкам. А когда Главный Архитектор заставил Перегодова раскрыть альбом, все просто восторжествовали.

Они не считали, что он выше и талантливее их, но если он окажется выше и талантливее, то они все будут гордиться этим, потому что он – ИХ коллега. У Перегорова кружилась голова в прямом смысле.

4

Через неделю Перегодов вселился в собственную квартиру и отправил на Север письмо с заявлением и адресом. Квартира была угловая, и большая комната освещалась тремя широкими окнами. Стол, станок, даже этюдник – все было уже приготовлено. Как, впрочем, и бытовые мелочи, вплоть до ножей и постельного белья.

Перегодов бродил по городу, заходил в гости к коллегам, ездил с ними в селенья. И маленькие пухлые альбомы один за другим заполнялись фронтонами, мебелью, интерьерами.

Через месяц Перегодов показал Главному первый дом и идею нового рынка. В доме Главный забраковал часть планировки и мебели. А с рынком – издал приказ, назначая Перегорова главным исполнителем проекта. Коллеги начали заходить вечерами со своим мыслями и советами. В целом переогодовская идея нравилась всем.

В середине октября Главный взял Перегорова с собой в командировку в его Родной Город. Особых дел для Перегорова не было, но он свел начальника со своими друзьями, на что тот и рассчитывал.

Зато сам Перегодов за три дня пребывания выслушал тьму упреков. С Городом в самом деле происходило неладное. Руководители Гор-

совета, отцы города, неясно, по каким побуждениям, принялись рушить и перестраивать старый центр, неовозвратно губя и уродуя его лицо. Случалось это и раньше — но не так цинично-безжалостно. К тому же, как правило, общими усилиями архитекторов эти набегии удавалось остановить. Нынче же архитектурные мастерские Города безостановочно наполнялись какими-то пришлыми, черт-те откуда приехавшими людьми, к Городу не имевшими духовного отношения, не знавшими его и не любившими.

Друзья обвиняли Перегодова в том, что ради удобств и уюта он фактически бросил родину, когда нужен каждый голос, тем паче его — специалиста!.. Улетал Перегодов с тяжелым сердцем.

Тем яростнее он набросился на работу. Купив в аптеке на рыночной площади сиднокарб и литрами потребляя кофе, он спал по два-три часа в сутки. Занятый на службе проектом рынка, он создавал целый рыночный городок, торговый центр, найдя решения толчеи, подвозки, воды и уборки мусора, думая о складах, людях и транспорте.

В шесть, когда заканчивался рабочий день, — хотя Главный их присутствие не лимитировал, — Перегодов, на ходу закусив, шел на южную окраину, к автовокзалу. Отсюда, с двух десятков домов начался когда-то город. Сейчас это место выглядело пятном, ветхое и обшарпанное. Обойдя все дома и поговорив с хозяевами, Перегодов добился того, что они согласились — если поможет город — перестроить свои лачуги по новым проектам. И теперь, получив благословение Главного, Перегодов вечер за вечером проводил у этих людей,

занимаясь тем, что они будут строить. И совсем уже поздно придя домой, пропитывая ночь табаком и кофе, он переносил на ватман все, до чего договорились вечером.

К двадцатому ноября проект рынка был готов. На самого Перегорова смотреть было страшно. Он просвечивал, качался и блестел глазами откуда-то из-под затылка. Главный — подписал проект, потом с минуту мрачно смотрел на Перегорова, наконец, сказал: "Слушай, дорогой, я тебя брал на работу архитектором, а не трупом. Тоже мне, понимаешь, Тень отца Гамлета, понимаешь! Иди домой и — спи! Чтоб неделю носа не показывал! Отдохни. Нельзя так, дорогой, понимаешь, а?" Перегоров растерянно оглянулся и, нетвердо ступая, вышел. А Главный полчаса ходил между столами и просил, чтобы кто-нибудь его зарезал и выкинул собакам, потому что из такого глупого барана шашлык делать нельзя — кто покушает, сразу сделается идиотом.

5

Сутки Перегоров спал. Проснулся он от дождя, ветра и холода. За окном бормотала осень. Депрессивная старуха добралась, наконец, сюда и теперь занудствовала на улицах, временами сумасшедше всхохатывая и размахивая ветром. Перегоров надел штормовку и вышел в морось.

Чем-то родным пахло от блестящего, в лиственных каплях, асфальта, мокрого камня стен, низкого, ватного, серо-сырого неба. Перекусив на углу в столовой, он долго еще

бродил по осенним ночным улицам, сам такой же мокрый и осенне-ночной. Спал плохо — урывками и в кошмарах, а утром и весь день почему-то не отвечал на звонки у двери и по телефону. Уже в сумерках, выйдя поест, купил еженедельную газету — со статьей о варварской застройке в его Родном Городе. Подпись была незнакомая. Ночью ему снились падающие дома: все их он знал и любил с раннего детства.

Перегодов, видимо, простудился — утром явственно ощутил сильную температуру. Но уже всем его существом, каждой клеткой владела одна идея. Двигаясь как в стеклянных шорах, Перегодов запихнул в чехол альбом и этюдник и отправился к автовокзалу: до аэропорта ехать двадцать километров.

Главный подошел к нему уже в аэропорту, в очередь на посадку. Он выглядел спокойным и очень грустным. Они отошли и закурили. "Понимаешь, — сказал Главный, став вдруг ниже Перегодова и смотря ему в пуговицу, — ты прав: человек должен жить дома. Но когда человек нашел свое призвание, очень часто в этой глупой и сложной жизни случается так, что и дом он находит там, где нужно его призвание. Где он может делать свое дело. И если для того, чтобы просто жить дома, человек бросает свой талант и зарывает его в землю, страдают от этого все: он сам, его дело и дом, породивший его, тоже. Сейчас лети. Может быть, все у тебя получится. Но я тебя буду ждать. Год. И на твоём Главном почтамте на твоё имя будут лежать деньги на обратный билет". Они резко обнялись, и, не оглядываясь, Главный вышел.

Часть V

1

Переогодов задумчиво рисовал тюрьму. Вполне профессионально спланировал он наружные контуры, дал общий вид и принялся за поэтажное планирование главного — как было написано сверху — тюремного корпуса. Все было выверено и рационально. Камеры, артерии коридоров, аорта внутреннего двора и вена ворот к железнодорожному перрону. Но что-то толкало его под руку, какие-то побуждения сверх странностей архитектурной задачи. Вычертив очередной этаж, Переогодов откинулся и внимательно посмотрел: весь проект складывался так, что думающий заключенный мог при желании бежать. Цель архитектуры узилища была, оказывается, в возможности побега.

Под окнами заскрипела машина; два часа ночи. Переогодов выключил свет и выглянул, ожидая увидеть милицию. "Та-ак, начинается мания преследования", — пробормотал он, глядя на пьяную парочку, выцарапывавшуюся из такси. На чердаке дуло.

2

Когда Переогодов без звонка явился к знакомым, его встретили радостно и чуть удивленно. Измученный и больной, вдохнув Родного Города, он на другой же день выздоровел. И вскоре был представлен большому начальнику — властелину вакантных мест. Отечески-фамильярный сановник, в прошлом та-

лантливый архитектор, внимательно посмотрел альбом и, закуривая, молвил: "Беру. Ты мне нужен. Паспорт и диплом". Рука прихлопнула по столешнице. Осиротив свои документы, Перегодов скованно попрощался и вышел. Альбом ему все же милостиво вернули.

Три следующие недели наполнены были помощью друзьям в работе, сиденьями допоздна в мастерских, деловыми мотаньями по городу. Наконец Перегодова — через друзей же — вызвали в сановную канцелярию. Там ему вернули диплом и паспорт и вручили листок со штампом. Текст гласил, что Архитектурное управление Горисполкома примет Перегодова на работу, если Управление внутренних дел Горисполкома пропишет его в одном из горисполкомовских домов. Пожав плечами, Перегодов пошел в милицию. В паспортном столе его принял крупный, спокойный мужчина с внимательными глазами и в штатском. Выслушав и посмотрев все документы, он дал Перегодову бланк заявления, объяснил, как заполнить, и велел прийти через шесть дней, в следующий вторник, когда эти вопросы рассматриваются. Облегченно вздохнув, Перегодов вышел на улицу.

Неделя как-то прошла. Во вторник, в назначенный час, Перегодов сидел на стуле в длинной очереди. Не первый, но не далеко. Задерживались в кабинете очень по-разному, и Перегодов, со стула на стул, продвигался к двери часа два. Войдя в кабинет, он увидел того же самого человека, но уже в форме майора милиции. Не отвечая на приветствие и глядя стеклянно сквозь, майор сказал: "Документы", — прочел внимательно все, поставил в заявлении пропущенную Перегодовым запятую, достал

маленький бланк и стал тщательно туда что-то вписывать. Дописав и притиснув печатью, он отдал бланк Перегодову вместе с паспортом и дипломом и сказал в пустоту: "Следующий". Перегодов взглянул на бланк. Типографски было отпечатано: "Извещение... гражданину(нке)... в прописке отказано"; после слов "причина отказа" от руки шло "Положение о прописке и выписке населения в городе..." "А что именно?" – спросил Перегодов. – "Я не обязан давать объяснения, – бесцветно ответил майор. – Следующий". В каком-то тумане Перегодов вышел и закурил, прислонясь к заборчику. Потом он собранно выпрямился, остановил салатовую машину и поехал к архитектурному сановнику.

Азартная решимость Перегодова действовала магически. Начальник не только оказался на месте, но к нему и тут же пустили. Узнал был Перегодов сразу. Он и рта раскрыть не успел. "А-а, это ты! – как-то даже радостно воскликнул большой начальник. – Что ж ты, брат, тянул-то? Заняли твое место. Дня три-четыре назад приехал тут один парень откуда-то с Севера, симпатичный такой, я его и взял. Так что, опоздал ты, опоздал. А вообще, слушай, что ты сюда рвешься? Человек ты, вроде, солидный, есть у тебя место, ехал бы и жил там, а?.. Ну, ладно, ты изнини, дел много. Будешь в Городе, заходи. Привет". Вышел Перегодов как оплеванный.

Переварив короткое уныние, друзья Перегодова развернули бурную деятельность, в которой сам он – за ненадобностью – участия не принимал. А недели две спустя ему сообщили о триумфальном успехе. Места в Городе, конечно

же, не было. Да этим, по бессмысленности, никто и не занимался. С архитектурной должностью тоже, как выяснилось, "глухо". Но в ста пятидесяти километрах от Города – в пределах области – нашлось место прораба и комната в общежитии. Работа необременительная: стройка бесконечно медленная и тянется уже годами. Зато до Города на электричке всего три часа и выходными приезжать вполне можно. И хоть нынче не прежние времена, но иногда можно будет добыть Перегодову какую-нибудь халтурку. А главное – он будет практически дома и сможет принять участие в защите родного Города!

Перегодов, зная Город до камушка, нашел подходящий чердак и перестал звонить и появляться.

Месяц жил он на чердаке. Ничего не хотел и не добивался. Гулял по холодным, заснеженным улицам, по бульварам, что-то немножечко рисовал, грелся в музеях, на выставках и, как на вернисажи, ходил в книжные магазины. Жил в любимом Родном Городе, естественный, как камень, голубь, чердачный кот. В какой-то незамеченный момент кончились деньги, и Перегодов, ничтоже сумняшеся, собирал бутылки и покупал горячие пирожки и хлеб. На выбранном им чердаке было проведено электричество. И только раз за весь месяц туда поднялись два слесаря. Но, покопавшись у самого люка, они ушли и Перегодова не заметили.

3

Проводив слухом парочку до квартирной двери, Перегодов укутался в пальто и задре-

мал. Утром он – против обыкновения – не закопал в шлак чехол с этюдником и альбомом, а закинув ремень на плечо, спустился на улицу и повернул к Главпочтамту.

Когда Перегодов, заполняя расписку в получении ста рублей, присланных ему "до востребования", провел рукой по волосам, на голубую бумажку дождем посыпалась перхоть.



Люди вышли из "Шинели" Гоголя...

* * *

Поэзия покинула Парнас,
Презрев свой долг прекрасный и высокий,
И тотчас потускнели ее строки,
И превратились в хлам избитых фраз.

Теперь она, расставшись с высотой,
Не госпожа и даже не служанка,
А просто – шлюха, шлюха-содержанка,
Что кормится фальшивой красотой.

И, как и та, поддельной страстью лжет,
Торгуя словом, словно телом голым.
Теперь, увы, божественным глаголом
Сердца людей она уже не жжет.

Вот так продажным осквернив трудом
Призвание благородное от веку,
Она в публичную библиотеку
Идет, как девка в свой публичный дом.

Поэзия покинула Парнас,
Презрев свой долг прекрасный и высокий,
Но не ее бичуют эти строки:
Они не про нее, они – про нас.

Черный ящик

Я не был критикой отмечен -
В глухом безмолвии творил:
Никто не брал меня за плечи
И добрых слов не говорил.

Чины редакций издевались, -
Поэт без власти - не поэт, -
Мои стихи не издавались
Почти что два десятка лет.

Когда совсем уже устану
Сносить издевки да беду,
Я фронтовой наган достану
И все до дела доведу.

Жалеть не надо, не жалейте -
То, что уплыло, не вернуть.
Вы лучше стопочку налейте,
Чтоб честь по чести помянуть.

Среди бумажек завалиющих
Потомок что-нибудь найдет -
Я все писал в свой "черный ящик",
Как будто был я самолет.

Вот вы его и отыщите -
О, как он нужен, Боже мой,
Ведь я теперь в его защите
Нуждаюсь больше, чем живой.

В нем свод страданий настоящих,
В нем свод ошибок и грехов...
Ах, этот ящик, черный ящик
Моих неизданных стихов.

* * *

Из хаты, из юрты, из сакли
Былая ушла теплота:
Не то чтобы чувства иссякли,
А просто эпоха не та.

Бросая любимых, не тужим,
В душе не храним ни черта:
Не то чтобы стали мы хуже,
А просто эпоха не та.

Художники лгут и поэты,
Лжет искренность, лжет красота:
Не то чтобы каждый – отпетый,
А просто эпоха не та.

Продажность живет не краснея
И в лучших домах принята:
Не то чтоб мы стали гнуснее,
А просто эпоха не та.

Вой джаза – не шепот свирели:
Из сердца ушла доброта...
Не то чтобы мы озверели,
А просто эпоха не та.

Комната смеха

Отдыхающим смех – не помеха.
Кто-то, истину эту поняв,
И открыл в парке комнату смеха
Средь других немудрёных забав.

Зеркала в ней особого рода –
Знай кривят всех и вся без конца:
Превращают красавца в уроды,
А безликим дают два лица.

Убавляют у толстого брюхо,
Прибавляют худящему грудь...
Вот откуда, видать, показуха
Начала триумфальный свой путь.

Эту комнату, – не без успеха, –
Стал использовать ушлый народ:
То романы из комнаты смеха –
Все кривое полезло вперед.

Ради денег, чинов и почета
Стали лгать и в словах, и в делах;
Уж стихи, а не только отчеты,
Сочиняют в кривых зеркалах.

И пошло, покатилося, как эхо,
Это дело не в шутку – всерьез.
И стоит в гулкой комнате смеха
То ли плач, то ли хохот до слез.

Я жил...

Я жил в эпоху лагерей, –
Увы, не только пионерских, –
Средь стукачей и палачей,
Средь фарисеев самых мерзких.

Я жил в эпоху лагерей, –
Где и свободным – несвобода, –

Среди лакеев без ливрей
И средь вельможных "слуг народа".

Я жил в эпоху лагерей –
В эпоху голода и пьянки.
Я жил среди "убийц-врачей"
И врачей-лечебников с Лубянки.

Я жил в эпоху лагерей,
Где гибла русская элита.
Я жил в те годы, где еврей
Ходил с клеймом космополита.

Я жил в эпоху лагерей,
Когда вся жизнь казалась бредом...
В той лотерее лотерей
Мне повезло – никто не предал.

Двойник

О, человек, как глупо ты живешь!
Ну, чем, скажи, ты можешь похвалиться?
Ты не успел еще на свет явиться,
А уж тебя подстерегает ложь.

Ложь лозунгов, собраний и газет,
Ложь раздвоенья сути слова с делом,
Ложь в речи ловкой, ложь в стихе несмелом,
Ложь славословий, где предела нет.

Петля на шее тоненькой твоей
И с каждым днем она всё туже, туже
И сам ты начинаешь лгать не хуже
Своих талантливых учителей.

Вся жизнь твоя основана на лжи,
Прикрытой полуправдой демагогов –
Сих современных Гогов и Магогов,
А сам-то чем ты лучше их, скажи?

Ты подлецов бичуешь за глаза,
При этом не жалея слов и страсти;
За них же, по указке высшей власти,
Ты на собраниях голосуешь – "За!.."

Читатель мой, взглядишь, я твой двойник –
И я, как ты, – не лучше и не хуже:
Я так же лгу, как все мы, и к тому же
Я с ложью свыкся, к подлости привык.

Шинель Сталина

*Все мы вышли из гоголевской "Шинели".
Достоевский*

Расклевали всех убитых вороны:
Где поля боёв – поля пшеничные.
Сброшены шинели "с разговорами"*,
Но надеты новые... опричные.

Ах, как дорого те годы стали нам:
Посчитай погубленных – не много ли?!..
Те, что вышли из шинели Сталина,
Били тех, кто из "Шинели" Гоголя.

* Поперечные нашивки на груди красноармейских шинелей гражданской войны назывались "разговорами".

Над селом глумились и над городом,
И над богачами, и над нищими;
И засеяли Россию голодом,
Затоптали правду сапожищами.

Так "гуляла" эта служба чёртова,
Что, по воле лейтенанта старшего,
В камерах Лубянки и Лефортова
Били женщин и пытали маршалов.

Палачей их гибель и не трогала:
"Всех добьем, чтоб больше не дристали нам..."

.....
Люди вышли из "Шинели" Гоголя,
Звери вышли из шинели Сталина.

Сталинская демонстрация

В берегах сероватых шинелей
Мы покорной текли рекой.
Он стоял на крыле мавзолея,
Нам помахивая рукой.

Он стоял высоко над нами –
Силой лжи и штыками храним,
Он стоял, попирая ногами
Ильича, что лежал под ним.

Славословили трубы визгливо
И кричали ура в строю –
Снисходительно и лениво
Поднимал он руку свою.

Обрекая народ на муку,
Над могилою Ильича

Поднимал он небрежно руку –
Руку труса и палача.

Страшны не мертвые...

Я Сталину бы не простил
Не только тех, что уничтожил,
А тех еще, что он растлил –
Тех подлецов, что он растил,
Что без него нас душат тоже.

Речь не о Сталине сейчас:
Страшны не мертвые – живые.
Они с нас не спускают глаз,
Они еще кусают нас,
Его же псы сторожевые.

Я даже б Сталину простил,
Когда б он их в расход пустил.

Две предыдущие строки
В запале брякнул я, конечно, –
Пусть доживают старики,
Иначе зло пребудет вечно.

Два портрета

*А гений и злодейство,
две вещи несовместные.*
Пушкин

В тридцать седьмом, я помню это,
В подъезде школьном, – у дверей, –

Висели рядом два портрета –
Бессмертный гений и злодей.

Один – с высоким лбом пророка,
Курчавый, юный и живой,
Другой, – как бы лицо порока, –
И низколобый, и рябой.

О первом говорили мало, –
Чей юбилей и не поймешь, –
А о втором не умолкала,
Всех оболванившая ложь.

Когда я вспоминаю это,
Вновь заглянуть хочу в ту дверь,
Чтоб знать, какие два портрета
Висят над юностью теперь.

Серость

В этом мире, лишенном веры,
Жизнь измеришь какою мерой?!..
Небо серо и люди серы,
Да и воздух какой-то серый.

Облака здесь из серой ваты
Проплывают над серым полем.
Даже мысли все сероваты
И душа воет серым воем.

Как осенней порою сырость,
Всё насквозь пропитала серость.
Как я рос здесь и как я вырос,
Как терпел я всю эту мерзость?!

Так обрыдла мне серость эта, –
Речи, лозунги, поученья, –
Что хоть в петлю того же цвета,
Чтоб избавиться от мученья.

Ночь

Легко живется палачам –
Их труд одобрен и оплачен,
А нам не спится по ночам –
Вздыхаем, сетуем и плачем.

Ночной тревоге не помочь
Ни адюльтером, ни трактиром,
А ночь – не только наша ночь –
Она стоит над целым миром.

Такую тьму и сотни лет
Крик петушиный не пробудит –
Рассвета не было и нет,
И даже, кажется, не будет.

Сердце

Я помню юности начало –
Дни беззаботья моего –
Не ныло сердце, не стучало,
Как будто не было его.

И вправду был я бессердечным, –
Беспечный мальчик страшных лет, –
Я о себе лишь думал вечно,
А о других не думал, нет.

Но вот, когда уже я вырос,
Когда коснулся взрослых дел,
Тридцать седьмого года вирус
Внезапно сердце мне задел.

С тех пор я "сын врагов народа" –
Презренный пасынок страны.
И я впервой узнал в те годы,
Что сердце с левой стороны.

От этой боли бесконечной,
Сказать по правде, я устал,
Но к людям стал куда сердечней,
Когда "сердечником" я стал.

Не о своей, о вашей доле
Теперь я думаю в ночи,
Не потому ль на валидоле
И держат днем меня врачи?

А сердце всё сильнее бьется,
Как ты собою ни владей,
И если даже разорвется,
То от тревоги за людей.

В него летят неправды пули –
Чужих скорбей я инвалид...
Нет, доктор, не возьму пилюли:
На то и сердце – пусть болит.

Сомнение

Жизнь пока не выпил всю до дна я,
Мучаюсь сомнением одним:

Родина... она-то мне родная,
А вот я-то был ли ей родным?..

Разрешите доложить

- Разрешите доложить, -
Мне хотелось бы дожить
До начала третьей тыщи.
Заглянуть хочу туда, -
В те далекие года,
Где все люди будут чище...
- Ну, а если будет грязь,
Если будет та же мразь,
Та же подлость без просвета?..
- Разрешите доложить, -
Все равно хочу дожить,
Чтобы плюнуть хоть на это!..

* * *

Читатель мой, кого ты ждешь,
Певца-провидца?
Но разве можно через ложь
К тебе пробиться?!
Ты так устал от слов пустых -
Ты жаждешь правды.
Ты говоришь: фальшивый стих, -
И в общем прав ты.

Ты только, милый, не учел
Особый фактор,
Что над стихами палачом
Стоит редактор.

Поэту застит светлый день
Его фигура.
А за редактором, как тень,
Стоит цензура.

Вот потому про пустяки
И пишем живо,
Вот потому и лгут стихи,
Что время лживо.

Стал не с горой, с болотом схож
Парнас поэта...
"Мысль изреченная есть ложь..." –
Про нас ведь это.

Открытое окно

(Монолог Савинкова перед самоубийством)

Как жрет свинья своих же поросят,
Так революция детей своих съедает –
И эта мысль давно мой мозг снедает:
По всем погостам бабы голосят,
А ночь темна – в России не светает.

Уже всё в вечность кануло давно
И время затянуло мутной дымкой
Боевиков, эсеров и Махно,
И сам я стал, наверно, невидимкой.
Последний шаг – открытое окно.

О, революция, ведь я твое дитя –
Я незаконный мальчик века злого.
Стой, революция, не убивай шутя,

Скажи мне на прощание хоть слово,
Чтоб все понять в забвение летя.

Я прыгну вверх, где небо всё в алмазах,
И упаду опять туда – на дно,
Где только грязь, блевотина, зараза,
Где торжествует чаще ложь и фраза...
Последний шаг – открытое окно.

Мне говорят, что я – авантюрист.
Что ж, может быть, но где паденья мера?
И в чем отличие правого эсера
От тех, кто власть срывает, словно вист,
Иль грабит вас, не вынув револьвера?

Я видел омерзение одно
За весь свой век и быстрый и короткий.
Продажно всё – министры и кокотки.
Меня трясли жандармские пролетки
И наконец – открытое окно.

А может быть, я – камень на пути?
О, революция, столкни меня ногою!
Жизнь озарилась истиной нагою:
Сорвавшегося в пропасть не спасти...
Прости, Россия! Родина, прости!..

Чужая строка

Попалась мне строка такая,
Казалось, – глаз не отвести.
До запятой ей потакая,
Я год ее держал в чести.

Она была, как ветер в зной,
Желанна, как жена чужая,
Что привлекает новизной,
Не душу – тело обнажая.

Я с той строкой ложился спать
И, видно, по мужской привычке,
Как будто платице, кавычки
Хотелось мне с нее сорвать.

Она на простыне листа
Лежала, словно для соблазна, –
Она была на все согласна
И обжигала мне уста.

Но время стерло ложный глянец
И суть была обнажена:
Вот так пред сном, стерев румянец,
Тускнеет чья-нибудь жена.

Вновь нынче встретил строчку эту...
Как мог связаться я с такой?!
Чтоб мысль свою родить, поэту
Не надо спать с чужой строкой.

Чудо поэзии

Иной уверен наперед,
Что пишет не безделки.
И тему крупную берет,
А стих выходит мелкий.

Другой рифмует ни про что –
Он пуст – о том и речь-то.

А вот Поэт – берет ничто
И превращает в нечто.

Другу-поэту

*Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов...*

Пушкин

Представь, мой друг, что где-то будет
Жить на земле гермафродит,
Который сам себя полюбил
И сам же от себя родит.

Ты скажешь: – В глупости знай меру,
Не городи, брат, чепухи...
Но ведь по этому примеру
У нас рождаются стихи.

Ведь очень часто мысль людская
Несет, как женщина, живот –
Она, сама себя лаская,
Самозачатием живет.

О человечестве радея,
Она приходит без греха
К самосозданию идеи,
К самосознанию стиха.

Смотри, мой друг, на вещи смело,
Со сладострастием пиши, –
Что кажется уродством тела,
То – только норма для души.

* * *

Все, что тихо в душе моей пело,
Полным голосом я не пропел.
То ли время мой не приспело,
То ль ко времени я не приспел?

Не виню ни людей, ни эпоху, —
Всем и вся доставалось от них, —
Только жаль, жизнь кончается плохо —
Что я создал, чего я достиг?!

И ночами не спится мне снова,
И брожу я, как будто в бреду:
Неужели не выскажу слова,
Неужели вот так и уйду?

А ведь было дано что-то Богом.
Впрочем, что — знает только лишь он.
То ли жил я в столетии убогом,
То ли был я таланта лишен?



Круг молчания*

Евгений Евгеньевич СЛУЦКИЙ
(1880 – 1948)

Е. Е. Слуцкий – всемирно известный математик, специалист по экономической статистике, теории вероятности, приложению математики к естественным наукам. Печатался в различных советских и зарубежных специальных изданиях, сборник его основных работ появился на русском языке у нас лишь в 1960 году.

Е. Е. – сын обедневшего потомка князей Слуцких, преподавателя в одном из больших сел Ярославской области. Учился в Киевском университете, где и начал свою научную деятельность. В двадцатых годах Е. Е. переехал в Москву, в тридцатых – поступил в Математический институт АН СССР, где и работал до конца жизни в качестве старшего научного сотрудника.

Слуцкий прошел долгий путь внутренних исканий от увлечения революционными идеями в студенческие годы (из-за которого даже был

* Из независимого журнала "Российские ведомости". С. Петербург – Москва. № 16, ноябрь 1988 года. Гл. редактор Г. Ивановский.

не раз исключен из университета) до сознательного богоискательства.

Е. Е. тщательно оберегал от посторонних свою внутреннюю жизнь. Глубинные интересы и разнообразные увлечения его необычайно широко одаренной натуры были известны лишь очень узкому кругу друзей и родственников. Это была в самом прямом смысле слова катакомбная жизнь. Связь её с внешней жизнью Е. Е., наполненной математическими изысканиями, была ясна лишь немногим его друзьям-математикам. В наше время уже нередко приходится слышать от молодых математиков, что математические работы Слуцкого подводят к граням метафизики.

В "катакомбах" Е. Е. ощущал себя прежде всего богоискателем и поэтом. В его личном архиве сохранились два богословских трактата, сборники стихов, подборка материалов к духовной биографии Пушкина и Блока.

Поворот от позитивизма юных лет в сторону рационалистической мистики заставил Е. Е. произвести, уже после 60-ти лет, переоценку ценностей. Служение науке как последней цели превратилось в одно из средств познания. Однако рационализм и привычка к научной точности и щепетильности в выводах оказались на долгие годы препятствием к возвращению в Церковь. Не хватало рационалистических ответов на слишком многие вопросы, а смерть уже стояла на пороге. Последние годы жизни Е. Е. протекли в борьбе с болезнью, которую поздно распознали. Он так и не узнал, что болен раком, хотя под конец и думал о близости смерти. Обычная для него духовно-интеллектуальная жизнь не прекра-

щалась до последнего дня. Не прекращал он и Иисусову молитву, которую начал за два года до смерти, по свидетельству его жены.

Умер Е. Е. внезапно, от горлового кровотечения. Собравшиеся в тот же день его друзья были потрясены величественной красотой лица покойного и атмосферой особой тишины, далеко не всегда столь ясно ощущаемой вблизи умершего. Эта необычная атмосфера сохранялась, по рассказам близких Е. Е., до выноса. В эти дни двое из присутствовавших в доме Слуцких обратились в христианство.

Е. А. Огнева

* * *

Из угла в угол, от стены к стене
Безумная по мукам бродит совесть:
— Любовь! Ужель ты тень среди теней?

И бредов непонятней ткется повесть
Сомкнувшихся в безвыходности дней.

21 августа 1938

Чудо

Вечер, как Божий ангел светлый,
На сад слетел мой, на жизнь мою.
Пред ликом тайны застыли ветлы,
Шепнули тихо: так бывает в раю.

Ночь выводила звезду за звездою,
И на ризе славы истаял свет;
А на душу, казнимую жаждой покоя,
Чистые ветлы возносили обет.

23 августа - 7 сентября 1938

Моя родина

Отвечу, в некий день вопрошаем:
Я оттуда, где боги страждут,
Где их крови алчут и жаждут,
Где доныне Бог распинаем.

Я оттуда, где сожрали Титаны
Младенца Диониса - Загрея*,
Где менады растерзали Орфея,
Прометея горели раны;

Где цикуттой напоили Сократа,
Где Ипатию разорвали,
Где во имя Святого сжигали,
Где глумятся над Небом и Адом;

Путь судеб неправдой запятнан,
Воздух дышит ложью и тьмою,
Кроткие не владеют землею, -
Но незримо нисходят обратно

К нам воскресшие боги.

31 августа - 14 сентября 1938

* В немецкой транскрипции: Zagreus. - Ред.

Какаду

Сегодня в ночь пришла беда:
В ноль-ноль часов, ноль-ноль минут
Ушел из жизни навсегда
Наш добрый, старый, хриплый шут.

Величья нет! А шут лишь тень
Величья от венца до пят,
Кто и в последний черный день
Ему б был первый друг и брат.

А вот у нас в зоосаду
Перенести никто не мог
Ворчливый окрик какаду:
"Дурак, дурак, помилуй Бог!"

Кривилась судорожно бровь,
С лица сползал непрочный лак,
И был у всех ответ готов
Один и тот же: "Сам дурак!"

Но если нет здесь короля
А, значит, он и не был шут,
Так пусть же светлые поля
С него позор земли сотрут.

Как океан – цветущий сад,
И в нем он – луч среди лучей,
И будет Божий и ничей,
Как много, много лет назад.

Конец тюрьме в зоосаду!
Ноль-ноль часов, ноль-ноль минут...

Ушел на волю кабаду,
Ваш непонятный старый шут.

12 сентября 1938

* * *

Я хотел о главном, о важном -
И вот опять ни о чем.
Пойми: ведь это же страшно
Вычеркивать стих за стихом.

... Не за то, что на прозу похоже:
Мы ведь знаем, что значит: "стихи".
Это вот - чтобы их уничтожить
Не посмела рука за их грехи.

А тогда и никто не посмеет...
Но как о том не тужить,
Что я стих сложить разумею,
И гореть, и летать, - но не жить.

2 ноября 1938

* * *

Есть блаженные души: даже мука в них
Выливается в песнь на устах.
А во мне, если больно, рождается крик,
Безобразный, как "Облако в штанах".

И тогда я учу молчанья язык, –
Он от века чудесней, чем стих;
В нем ни слова, ни рифмы случайной.
В нем я с Богом один, и мой Бог велик,
И меж нами – наша с Ним тайна.

9-10 ноября 1938

* * *

Он не я – вы не верьте ему!
Он для внешних лишь я, а он – тот,
Кто меня заточил в тюрьму,
Кто моею кровью живет.

Сквозь глаза его я смотрю,
Но так редко ты видишь меня;
Языком его говорю,
А кто слышит пенье огня?

Сердце взрывами тяжело порой,
Но и то уж мое торжество,
Что в речей ненавистный мне строй
Вдруг вольется молчанье мое.

22 ноября 1938

* * *

О застывшей речке, о листьях опавших,
Желтых, мокрых, на черной воде,
О цветах неживших, родиться опоздавших,
О забывшей солнце мерзлой лебеде –

Обо всей уныло онемелой твари
Ели возносят к небу тонкие персты.
От деревни веет грешным духом гари:
— Нас не позабудьте, лесные кресты!

19 декабря 1938

* * *

Не радует небо, не радует снег,
Все "завтра", как тучи нависли;
Несбыточным дразнятся словом — "побег"
Больные, упорные мысли.
Безумные мысли, безумные сны!
А все ж вы милее мне жизни, —
Злой жизни, где даже и камни больны
Безумьем тоски по отчизне.

15 января 1939



Ирина МУРАВЬЕВА

Два имени

О женском творчестве принято говорить или с оттенком легкого снисхождения или как о чуде. "Я давно уж не приемлю чуда, — ахнул в свое время Волошин, открыв молодую Цветаеву. — Но как сладко слышать: чудо есть!"

Я с этим взглядом не спору. Женское появление в искусстве (не говорю об искусстве театральном и музыке) действительно подчинено закону исключительности и настораживает своей редкостью. Ну, так что же? Не нами ведь установлена жизнь с ее глубокими закономерными традициями, с ее и по сей день просвечивающим сквозь грохот атомного века идиллическим образом прошлого: воин и охотник, уходящий из дому, и женская головка в зарешеченном окошке, кротко склоненная над рукодельем... И как бы далеко ни отступило человечество от этой "модели мира", она, вытканная на шершавом холсте его тысячелетий, рваная и перепачканная, все еще продолжает существовать. Может быть, поэтому особенно любопытно поговорить о том, что происходит с "суровой прозой", когда в ее пространство, подобно "беззаконным кометам", врываются женщины.



Два имени: Людмила Петрушевская и Татьяна Толстая привлекли мое внимание, но соединяя их, хочу сразу очертить свою тему: не сравнительный анализ "творчеств", но возникшее при *невольном* сравнении желание определить, что же такое искусство подлинное и искусство подложное, ровное пламя, поддерживаемое сухим крепким деревом, и пламя, истерически вспыхивающее от синтетического топлива?



Вспоминаю, как в детстве я приходила к соседке по коммунальной квартире и с раскрытым ртом часами стояла в ее жарко натопленной комнате, которая казалась мне мерилom красоты и тайны, ибо там, за стеклянными дверцами буфета, переливались фигурки Царевны-лебеди в золотой короне, Ивана-царевича с аляповатой стрелой в руке, на которой нерадивый стекольщик отлил вместо пяти шесть розовых пальцев, гламурно отсвечивали лиловые фужеры с жирными, золотыми ободками, сияло пасхальное яйцо, расписанное огненными розами, висел на стене ковер с серым волком, похожим на недоразвитую лошадь, хрустела неправдоподобно высокая кровать с белыми оборками и на проложенном ватой окне пылала живая герань вперемежку с кладбищенскими розами, слегка запыленными по матерчатым краям. Кроме того была еще отдельная этажерка с кружевной салфеткой, на которой выгибались кошки-копилки в васильковых и розовых бантах...

Грустная, я медленно возвращалась к себе и до чего же безрадостным казался мне наш сдержанный дом с однообразными стопками книг и маленьким Наполеоном на синей с белым старинной тарелке, матово блестевшей на голой стене!

Но уточняю: то, что наша плющихинская соседка, как могла, украшала свою тусклую жизнь, не вызывает у меня никаких нареканий, и вспомнила я о ней сейчас только потому, что совсем недавно Татьяна Толстая чуть было не "обманула" меня, как когда-то, в глубоком детстве, обманул этот жарко натопленный, забитый пестрым хламом закуток с его желтоволосыми царевнами и стыдливymi кошками.

Подчиняясь причуде, очевидно, изголодавшегося по метафорическим ассоциациям мышления, я с удивлением ловлю себя на том, что этот закуток кажется мне во многом похожим на рассказы Толстой, сплошь ненатуральные, захламленные, крикливо-красочные, читая которые я все же почему-то долгое время чувствовала, что душистое праздничное слово новой "звезды" приятно щекочет мне горло и веселым теплом разливается по сердцу. Почему я сразу не заметила, что король – голый? Почему мы так легко поддаемся соблазнам и так жадно вынюхиваем дикарскими носами дешевую праздничность?

Творческий мир любого автора состоит, в сущности, из представлений автора о мире. Моя основная человеческая (и, стало быть, читательская) претензия к Т. Толстой та, что меня *нравственно* не устраивают ее представления о мире. Каждый рассказ Толстой, на мой взгляд, не более, как прихотливая, отлакиро-

ванная претензия, которая неоправданно искажает жизнь как таковую и преподносит ее насквозь фальшивой, в васильковых бантах и бумажных розах. При этом сюжеты рассказов, отливающие то Олешей, то Набоковым, то слегка — Т. Манном, неизбежно наталкивают автора на "вечные" темы серьезной литературы: душа человека в падениях и взлетах, смерть, любовь, страх смерти, детство. С этими-то темами Т. Толстая, как я понимаю, не справляется, вернее она справляется с ними с самонадеянностью умненького, начитанного, мало что пережившего десятиклассника из какой-нибудь хорошей московской школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке и расположенной к тому же неподалеку от консерватории и модных театров.

Отчего это происходит? Главным образом оттого, что Толстая не уважает людей. Не уважает инфантильно, по-печорински, не задумываясь, она беззастенчиво вертит их в своих холодных ловких руках, трясет, как тряпичных кукол, и, распотрошенные, увешанные словесными завитками люди, неизменно оказываются несимпатичными, плоскими, однообразными. Ее книга — как альбом уездной барышни, начиненный всеми обязательными "наполнителями": трогательно-нелепыми стариками, с их свалывшимся прошлым, детьми, классически погруженными в свой "неповторимый" детский мир, молодыми людьми, которые, вяло расталкивая навязанные им сюрреалистические сюжеты, ищут смысла жизни... Одно и то же, переливаемое из рассказа в рассказ, заново, упоенно шлифуемое, но, в сущности, не имеющее ни к чему никакого отношения.

Вот, посмотрите, старики. Капризные, неживые, которых автор насильно заставляет переживать что-то изощренно-фальшивое, дутое, дамское:

"Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот он доживет эту жизнь и начнет новую, в другом обличи. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность. То ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем..." ("Круг").

Я с сожалением замечая в поэтике Татьяны Толстой сходство с другим Толстым, Алексеем Николаевичем, доводившимся ей, если не ошибаюсь, близким родственником. Те же произвольно раскрашенные целлулоидные фигурки, выполненные с какой-то брезгливой полуснисходительностью, хотя Алексей Николаевич обладал, конечно, более острым дарованием и, несмотря на фальшь и поразительное однообразие, в его произведениях все же встречаются настоящие страницы. Совпадение происходит на том *целостном, нравственно-художественном* уровне, на котором, не взирая на отпущенные природой литературные дарования, ни Алексей Толстой, ни Татьяна Толстая не сбываются.

Василий Михайлович (герой рассказа "Круг"), желающий заново прожить жизнь то ли котом, то ли персидским царем, "прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли, и, откинувшись в

кресле, долго глядел в зеркало на себя – одного-единственного”.

Ах, как прекрасно вписывается он в плотно сбитую кучу всех этих рассеянных Стабесовых, чесучовых Томилиных, разжиревших Гариных, всех этих, призванных вызвать невольную, растроганную улыбку ”чудаков” Алексея Толстого, на самом деле запечатлевших один-единственный стереотип – холостого дачного дядюшки, украденный им из затасканных любительских спектаклей.

”Вы крылатая, вы необычайная”, – проговорил Семен Семенович. Ледяными пальцами схватил Машину руку, нагнулся, чтобы поцеловать, но как-то затоптался и еще раз встряхнул руку. Покрасневшие глаза его были как у сошедшего с ума кролика...

”Я должна вас поблагодарить, Семен Семеныч”. ”Ради Бога! Только не эти условности... Мир стал волшебным. (Маша двинулась, он загородил ей дорогу.) Сжальтесь. Я знавал женщин. Каюсь. (Он привзвизгнул.) Но это было грубо, это было животно. Лишь в первый раз – сегодня. Вы не должны покидать меня. Вы еще сами не знаете, какие силы послали вас”.

Видимо, Семен Семенович никак не мог (неврастения!) добраться до сути дела, т. е. потащить Машу на кровать” (А. Толстой ”Без крыльев”).

А, может быть, это фамильная традиция – не любить людей, и, следуя ей, Толстая так не любит своих героев, так иронизирует над любыми чувствами и с таким ядовитым удовольствием подмечает в поведении человека слабости, которые под ее ”животворящим” пером сразу же становятся отталкивающими?

"Изольда все трепетала и трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. "Ну, что Ляля?" – говорил он, зевая. Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан: собирался назад к Евгении Ивановне. Часы тикали, Изольда плакала, ничего не понимая, обещала умереть, под окном была слякоть. И чего нюни распускать? Вот взяла бы лучше и прокрутила мяса, котлет бы нажарила. Сказал: уйду – значит уйду. Что тут неясного?" (Т. Толстая "Круг").

Можно, наверное, посмотреть на все это иначе: жестко пишет – что ж тут плохого? Не сюсюкает, "нюни не распускает", следует традициям "жесткого" двадцатого века. Не всем же, в конце концов, сочинять стихи к роману "Доктор Живаго".

Не принимая поэтики Толстой, я настаиваю на другом: жесткий стиль не есть отсутствие душевной тонкости и правды. Жесткость не отрицает необходимости уважения к жизни и смерти так же, как и необходимости сострадания к человеку. Литература – не современное изобретение, и у нее – слава Богу! – есть свои традиции, которые, выражаясь языком банальным, принято называть гуманистическими.

Традиции эти весьма слабо усматриваются в литературе Т. Толстой, несмотря на всю ее дух захватывающую ловкость:

"Зоя служила в больнице, в справочном, надевала белый халат и тем самым слегка принадлежала к этому удивительному медицинскому миру, белому, крахмальному, где шприцы и шпатели, каталки и автоклавы, и

стопки грубого чистого белья в черных печатях, и розы, и слезы, и шоколадные конфеты, и стремительно увозимый по нескончаемым коридорам синий труп, за которым, едва поспевая, летит маленький огорченный ангел, крепко прижав к своей птичьей грудке истрадавшуюся, освобожденную, спеленутую, как кукла, душу" (Выделено мною. – И. М.) ("Охота на мамонта").

Нет, я не против жесткости и не против ловкости, я против пустоты, нелюбви и безжалостности. Забегая вперед (ибо о Людмиле Петрушевской потом), хочу просто для сопоставления привести тоже очень жесткое, почти сюрреалистическое в своей простоте и досказанности описание смерти в рассказе Л. Петрушевской "Свой круг":

"У меня в тот период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограммов до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой, величиной с кулак, и когда нам ее выкачали умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка, и с этой дырой на животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя мама где-то в другом месте".

И опять же мне могут возразить у Толстой – одно, у Петрушевской – другое. Каждый волен писать так, как ему вздумается, на вкус и цвет товарища нет. Разумеется. Но каждый ведь волен и оценивать по-своему то, что ему предлагается. Механически прогло-

тить, восхитившись внешне удачной метафорой, все же проще, мне думается, чем проделать определенную внутреннюю работу, требующую от тебя волевого напряжения и, в результате, выявляющую, совпадает ли написанное с твоим собственным человеческим опытом, с твоим взглядом на существующее. Так вот: честно проделав эту работу по поводу прочитанной книги Т. Толстой, я говорю себе "с последней прямоотой" – меня эти красоты, эти грациозно вылепленные ангелы, к птичьим грудкам прижимающие спеленутые души, на уровне эстетическом мало трогают (надоело ахать от литературного модерна), а на уровне этическом и вовсе оскорбляют, потому что ничему из того, что испытывала я при виде умершего или больного человека, находящегося (придерживаюсь заданной конкретности образа) в больничных стенах, не соответствует этот сплошь искусственный, сплошь сочиненный ангел. Там, под его "огорченными" крылышками я вижу глухую пустоту, обидно зиявшую на месте сострадания, да и проще: элементарного такта – пишущей.

Не случайно, кстати, я упомянула сейчас о такте. Когда Лев Толстой писал об иерархии расположения предметов в поэзии (а в прозе ведь то же самое) и в качестве лучшего примера этой достигнувшей гармонии иерархии приводил Пушкина, он ведь в сущности и имел в виду это умение вовремя остановиться, эту своеобразную деликатность по отношению к жизни и людям, которая всегда отличает большого мастера, это ощущение ненарушаемой цельности окружающего тебя мира, каким бы драматическим и сумасшедшим он ни был. И если Достоевский, например, позволил себе написать

о том, что тело святого старца Зосимы, пролежав какое-то время в закрытом помещении, не стало, против всеобщего ожидания, источать благоухание, а, напротив, подобно всем грешным телам, наполнило комнату тяжелым трупным запахом, он ни в чем не перешел границу допускаемого натурализма, лишь жестко, с помощью одной выпуклой, западающей в память детали сказал о том, что есть что: величие человека не связано с изменением физиологических законов, и не в том чудо, что после кончины тело вдруг начнет источать запах цветов, а в том, что в этом немощном, всем страхам и болям подверженном теле было сосредоточено столько тепла и света...

Так что, "закрытых" тем для художника, конечно, не существует, но ведь — как говорили в старину: "На все есть манера..." Жестко, с какой-то "раблезианской" почти откровенностью пишущая Л. Петрушевская восхищает меня именно тем, как метко попадает она в самые болевые точки нашей жизни, а жестко пишущая Т. Толстая лишь раздражает постоянным отсутствием живого чувства и заменой тонкости душевной на тонкость стилистическую:

"Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пёс тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонек..."

Сами по себе очень хороши эти белые морозные маргаритки. Но зачем они выросли здесь, в строке о беспомощной стариковской кончине? Кончины-то благодаря им и не получилось. Не сумела Толстая сказать о ней, но не потому что не хватило слов, а потому что ей — в который раз! — не хватило сердца... Мертвенным холодом, ледяным, до мурашек на спине, бездушием веет от этой блестящей, сплошь в колючих морозных маргаритках, прозы...

В погоне за метафорическим блеском Татьяна Толстая бывает иногда как-то сладострастно-безжалостна. Она готова растерзать любого, как ястреб терзает беспомощного лебеденка. Пока землю белым пером не запорошит, пока алой кровью не брызнет. Вот, например, о памяти человеческой, об умерших:

"Нет, постойте, дайте вас рассмотреть. Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку. Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку, на бессмысленном лбу потоки клея от мочального парика, а голубые стеклянные глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чёртова перечница! А ведь притворялась живой и любимой!" ("Соня").

Прочтешь такое, и руки опускаются. Что ждать от таланта, если он нравственно ущербен?

Алексей Николаевич Толстой был воспитан на литературе девятнадцатого века и, несмотря на природный цинизм и профессиональное

"ноздрёвство", мыслил ее уходящими романтическими конструкциями. Поэтому у него есть и любовь, и джентльменское отношение к женщине, и белые платья, и синие глаза, и неожиданные духовные перерождения. Татьяна Толстая — дитя нашего драматического скоростного столетия с его смещенными ценностями и нарушенными логическими связями, поэтому её, как бабочку на огонь, тянет к поэтике абсурда. Но как неестественны "тургеневские" концовки в произведениях А. Толстого, так неестественны и абсурдистские "виражи" в рассказах Т. Толстой. И там, и тут ощущение приклеенности, заимствованности, с одной стороны, и с другой — пронизывающий холодок какой-то общей "рыхлости", отсутствие той неизбежности, которая составляет основу всякого большого произведения.

Повествование Толстой всецело подчинено произволу, причем произвол этот какой-то беззастенчивый, аляповатый, даже и установкой на абсурдизм не спасаемый. Герой рассказа "Река Оккерман" Симеонов, человек немолодой, хотя и до сих пор приводящий к себе женщин ("Симеонов ел плавленые сырки, переводил нудные книги, вечерами иногда приводил женщин, а на утро, разочарованный, выпроваживал их"), мечтает о встрече с давным-давно забытой певицей Верой Васильевной. Встреча рисуется ему в духе старинного романа:

"...бежать, разыскать Веру Васильевну, подслепова-
тую, бедную, исхудавшую, сиплую, сухоногую старуху,
разыскать, склониться к ее почти оглохшему уху и
крикнуть ей через годы и невзгоды, что она одна-
единственная, что ее, только ее так пылко любил он

всегда, что любовь всё живет в его сердце больном..., и старуха, обомлев, взглянет на него полными слез глазами: как? вы знаете меня? не может быть! Боже мой! неужели это кому-нибудь еще нужно! и могла ли я подумать! – и растерявшись, не будет знать, куда и посадить Симеонова, а он, бережно поддерживая её сухой локоть и целуя уже не белую, всю в старческих пятнах руку, проводит её к креслу, вглядываясь в её увядшее, старинной лепки лицо. И с нежностью и с жалостью глядя на пробор в её слабых белых волосах, будет думать: О, как разминулись мы в этом мире! Как безумно пролегло между нами время!”

Знакомство, наконец, происходит. Вера Васильевна оказывается огромной, наруганной, черно- и густобровой, весело хлещущей спиртное и рассказывающей анекдоты бабицей, которую на следующий день почему-то привозят к Симеонову мыться в ванне.

Ну, хорошо. С трудом, но я готова поверить в художественную логику того, что девяностолетняя певица хлещет водку и залихватски рассказывает анекдоты. Но вот эта самая ванна, преподносимая в конце рассказа, как драгоценная жемчужина, как мастерская находка, как венец всего сказанного, эта сюрреалистическая ванна, появляющаяся по прихоти жгуче-современного сюжета, производит на меня какое-то тяжелое впечатление своей мозговой впаянностью в рассказ, своей лобовой нацеленностью на максимальное унижение человека. Да, наше существование ни в коей мере не сводимо к идеальным любовям и мечтанным встречам – пусть так! – но ведь оно не сводимо и к произвольным перемещениям тряпичных уродцев в искаженном пространстве:

"А Симеонов против воли прислушивался, как кряхтит и колыхается в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканием отстает её нежный тучный налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги, и как, наконец, откинув крючок, выходит в халате красная и распаренная Вера Васильевна: "Фу ух. Хорошо". Поцелуев торопился с чаем, а Симеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия" (выделено мною. - И. М.) ("Река Оккерман").

Еще раз: не о мастерстве я говорю - Татьяна Толстая писать умеет - а о чувстве. Стало быть, о мастерстве другого рода...

Возвращаясь к произволу, останавлиюсь на двух моментах рассказа "Круг". Василий Михайлович и его жена Евгения Ивановна покупают вещи у спекулянтки. "Вираз" первый: спекулянтка почему-то оказывается карлицей, цирковым лилипутом. С тем же успехом она могла бы оказаться и инопланетянкой, и жительницей подводного царства. Как говорил Хлестаков: "Это ничего. Для любви нет различий..."

"Василий Михайлович искоса разглядывал кровать с приставной лесенкой, детские стульчики, низко, над самым полом, висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, стоя на крупе расфуфыренной лошади, в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через

время, через прошедшую жизнь. А здесь, выхватывая из шкафов морщинистыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура Гулливером металась по стенам тень”.

И тролль, и Гулливер – немножко, мне кажется, многовато для одного образа, но стиль Толстой, к сожалению, часто грешит излишествами и той же капризной произвольностью, что и её мысли, так что встречаются метафоры куда более безвкусные:

”Скажем, записывают концерт. Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пасти-ла...” (выделено мною. – И. М.).

Внешне клавиши действительно могут напомнить пастилу, непонятно только, как добиться, чтобы она, бедная, ”взбесилась”?

Но продолжим разговор о лилипутке, поглощенной жаждой несправедливой наживы:

”Василий Михайлович думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если её посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь”.

Удача! Достигнут эффект осязаемости, гротескно усиленные, ломающиеся размеры рождают ощущение живого страха, явленного через фантастическую деталь. Тут-то бы и остановиться, следуя старинным законам прозаического жанра: чем скупер, тем выразительнее. Но Т. Толстая, самонадеянно увлекает

мая игрой литературного воображения, цепляет образ за образ, и метафорическая цепь узловато разрастается, распухает, становясь при этом какой-то водянистой, насквозь надуманной, ребячески (а лучше сказать: мещански) разукрашенной:

”Василий Михайлович... представлял себе, как молодая лилипуточка сидит в мрачном зарешеченном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через зловещий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, и лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная, как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни, а стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу”.

Ах, Боже мой, да ведь я же не против художественного вымысла, лунных яблок, вороных коней, у Булгакова тоже были и кони, и русалки, и отрезанные головы, а у Гоголя? Я против произвола, литературного шаманства и забалтывания. Шар должен попадать в лунку, если игра идет всерьез. Творчество осуществляет точное попадание слова в предмет, это всегда болевой удар, всегда искра, высекаемая из камня. А средства высечения... Да любые! От пушкинской простоты до прустовской изысканности, от народных сказок до кафкианских страхов. Важно одно: попадание, попадание, попадание.

В том же рассказе "Круг" есть более существенный и, может быть, еще более характерный для манеры Т. Толстой пример того, что я называю шаманством и художественным произволом. На последней странице, она вдруг делает глубокий надрез на сюжете, с хрустом ломает его и оставляет доживать с этой торчащей изнутри "костью", усугубляющей то общее неприятное ощущение неправдоподобия и болезненности, которым дышит весь рассказ в целом. Василий Михайлович, бессмысленно доживающий бессмысленную жизнь, запутавшийся в мелких крошках и паутине повседневности, когда-то безрассудно бросивший страстно любящую его Изольду (Тристан, бросивший Изольду? Классический сюжет наизнанку?), такой вот Василий Михайлович, соскучившись ждать в парикмахерской жену, приходит на медленно вечереющий пятачок какого-то московского рынка, где "в толстом стекле кружек блуждающими огнями прозрачно светится пивная заря". И вдруг...

"Там стояла Изольда, расставив ноги. Она сдувала пену себе на войлочные боты, страшная, с треснувшим пьяным черепом, с красной морщинистой мордой...

"Лялечка", - сказал Василий Михайлович.

Но она смеялась с новыми приятелями, спотыкалась, подставляя кружку: черный мужик раскупоривал бутылку, другой бил сухой рыбой об угол ларька, им было хорошо.

"Ра-адостно-сее-сее-ердцу, - пела Изольда. - О, если б навеки так быыыы-ыло!"

Василий Михайлович стоял и слушал её пение и не понимал слов, а когда очнулся, дерущуюся Изольду поспешно уводили милиционеры" ("Круг").

На мой взгляд, этот сюррералистический "трюк", кроме всего прочего, обидно банален: почему-то автору не пришло в голову ничего остроумнее, чем столкнуть героя и героиню, теперь старых и безобразных, на том самом месте, где они когда-то, молодыми и прекрасными, встретились. Сюжетная защелка взвизгнула, и круг замкнулся, оправдывая название и выдавливая последний сгусток неправды.

К сожалению, мне вообще кажутся психологически неоправданными и мало интересными (несмотря на кажущуюся внешнюю остроту) большинство из тех способов, которыми пользуется Т. Толстая, сводя сказанное ею в том или ином рассказе к общему знаменателю. Способы эти двояко обнаруживают свою примитивность: как с точки зрения чисто фабульных возможностей прозы, так и с точки зрения просто жизни, которая, никогда не стремясь к нарочитому абсурду, всё ещё оригинальна, непредсказуема и, как говорил Лесков, "нередко строит такие комбинации, каких самый казуистический ум в кабинете не выдумает".

Прочитав пару подобных рассказов, в середине третьего начинаешь думать, что тебе в общем-то ясно, как он должен кончиться. Впрочем, Татьяна Толстая — ведь человек талантливый, так что счастливые исключения всё же встречаются. К таким исключениям я бы отнесла "Охоту на мамонта" и "Петерс". Нет, ни в том, ни в другом рассказе автор себе существенно не изменяет: инфантильно-брезгливое отношение к жизни остается при ней, но и в том и в другом есть какая-то звонкость и свежесть, искусственные "трюки" в основном оправданны, во всяком случае, они не так

коробят своей искусственностью, и главное — существует некое красивое внутреннее решение, определяющее общую динамику действия. Тем огорчительнее, что, обладая, судя по всему, довольно мощными потенциальными возможностями, как сказали бы музыканты, хорошим "аппаратом", Толстая, не научившись "вычитывать" собственных текстов, дает жизнь такому произведению, как "Сомнамбула в тумане", напечатанному в одном из номеров "Нового мира".

О чем рассказ? Трудно сказать. Судя по размаху, это итоговое слово о жизни, как её видит автор. Бездна издевательства, выдаваемого за сарказм. Бездна самоповторений, выдаваемых за сложившийся стиль. Гротеск, гротеск и еще раз гротеск. Но на все двадцать страниц — ни одной зрелой мысли, ни одной *взрослой* печали. Буйная фантазия начитанного акселеранта. Капустник в 9 "А".

Для примера обращаюсь к фарсовому описанию несбывшегося "бунта" обвешенных покупателей, направленному, очевидно, на выявление "глубоких жизненных противоречий", которые в этом описании, как мне кажется, низводятся до уровня журнала "Крокодил" и обидно мельчают:

"Несколько человек, прослушав стариковы речи, по-серьезнели и бдительно осмотрели одежду и ноги Денисова, но большинство охотно зашумели, дали взвесить мясо и, убедившись, что разнообразно обсчитаны, радостно возмутились и, счастливые своей правотой, толпой двинулись в подвал к директору. Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило невидимое солнце девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но вдруг директор-

ская дверь распахнулась, и из тусклого закута с полными сумками в руках – женскими, стегаными, в цветочек – выплыл знаменитый красавец, актер Рыкушин, буквально на этой неделе мужественно хмурившийся и многозначительно кутивший в лицо каждому с телеэкрана. Бунт немедленно распался, узнавание было радостным, хотя и не взаимным, женщины взяли Рыкушина в кольцо, тут же сиял кучерявый директор, произошло братание, кое-кто прослезился, незнакомые люди обнимали друг друга, одна полная женщина, которой было плохо видно, влезла на бочонок с сельдью и отцицеронила такую горячую речь, что тут же было решено направить коллективную благодарность в торг, а Рыкушина просить взять творческое шефство над двести тридцать восьмью ясельками с ежегодным появлением в виде деда Мороза. Рыкушин кудрявил блокнот, вырывал листки с автографами, пускал по волнам голов, сверху, из торгового зала, валили новые поклонники, под руки вели ослепшую от волнения четырежды орденоносную учительницу, а пионеры и школьники со свистом съезжали вниз по шатким перилам, шлепаясь в капустные отвалы. Денисов что-то сипел о правде, его не слушали. Он рискнул, присел на корточки, отогнул край рыкушинской сумки, ковырнул бумагу. Там были языки. Так вот кто их ест. Он снизу, с корточек, заглянул в холодные глаза гурмана и тот ответил взглядом: да. Вот так. Положь на место. Народ за меня” (“Сомнамбула в тумане”).

Похоже, что Толстую особенно интересует причудливость окружающей жизни, тот непрощенный хаос бытия, в который мы все погружены, но при этом она категорически неспособна посмотреть на вещи, как говорил Гоголь, ”простыми глазами” и ”глядит чёрт знает в какие преогромные очки”. От этого

жизнь не становится более выпуклой или контрастной, напротив: глаз не выдерживает напряжения, и предметы, пользуясь выражением Достоевского, "искажаются до бездельничества":

"Очень многие женщины, — говорила Лора, — мечтают иметь хвост. Сам подумай: во-первых, как это красиво: толстый пушистый хвост, можно полосатый, скажем черный с белым, мне это пошло бы, и вообще на Пушкинской я видела такую шубку, которая к такому хвосту в самый раз. Короткая, рукавчик широкий, шалевый воротник. Можно с черной юбочкой, вроде той, которую Катерина Иванна сшила Рузанне, но Рузанна хочет продать, так представляешь, если бы был хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею и тепло. Потом, если допустим, в театр: простое открытое платье и сверху собственный мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно держаться хвостом за поручни, станет жарко — обмахиваться, а если кто пристанет — хвостом его по шее! Ты хочешь, чтобы у меня был хвост? Ну, как это: всё равно?" ("Сомнамбула в тумане").

Возможно, на такие искаженные "до бездельничества" куски можно было бы просто не обращать внимания, возможно даже, что это своеобразный излишек своеобразного таланта. Но беда в том, что холодное своеобразие это слишком далеко (повторяю) заходит, распространяемое на детей и на взрослых, на жизнь и на смерть, на любовь, на голод, на старость, на слабость. Дышать нечем в рассказах Толстой, верить в них — некому. Что-то и впрямь сомнамбулическое, рожденное чистой случайностью, и в то же время жестко-продуманное, разъеденное рассудком до каждой

детали, каждой мелочи есть в этих рассказах, красочное, порою даже великолепное слово которых не имеет никакой другой основы, кроме стилистической, и я боюсь, что им уготована та же участь, что и беспочвенному герою "Сомнамбулы в тумане", который

"бежит по бездорожью, смежив вежды, вытянув руки, с тихой улыбкой, словно видит то, что не видят зрячие, словно знает то, что они забыли, ловит ночью то, что потеряно днем. Он бежит по росистой траве, по лунным пятнам и черным теням, по грибам и подорожникам, по бледным ночным колокольчикам, по маленьким лягушатам. Он взбегает на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной, вереск хлещет его легкие ноги, ночь дует в спящее лицо, белые волосы развеваются по ветру, расступается лес, расцветает клен, разгорается свет.

Неужели он не добежит до света?"



В каком-то смысле Людмила Петрушевская Татьяне Толстой полярна. Я вступаю в её мир и словно бы совершаю тот детский переход из бутафорной, франтовской – с кошками, неживыми цветами и лебедями – соседской комнаты в свою, неприукрашенную, простую, слабо сияющую маленьким, сине-белым Наполеоном на деревянной стене. Здесь тоже можно жить. В открытой форточке виден кусок свободного тревожного неба. Здесь прохладно и, несмотря на охватывающую меня ноющую печаль, легко дышать. Здесь мне знаком каждый предмет.

Что восхищает в Людмиле Петрушевской? Она, как мне кажется, человек очень сдержанный. В

отличие от Толстой трагедия жизни чувствуется ею не потому, что она писатель, которому это как бы по штату полагается, а просто потому, что чувствуется. Суждено, отпущено. Но при том, как сильно она чувствует и сколько в ней накопилось — стучит, давит, скручивает, — сохраняется эта льдинками покалывающая сдержанность, эта мужественная отстраненность от себя самой — пишущей, эта трезвая профессиональная скуповатость. Ни одного украшения, ни одной "бирюльки". Каждой клеточкой пульсирующее, кровоточащее творчество, сохраняющее будничную терпеливость ремесла. "Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных румяных губах, всегда ко всем с насмешкой" ("Свой круг").

Жесткость Петрушевской пропитана болью, а боль не нуждается в подпорках и украшениях, так же, как жизнь не нуждается в филологическом вымысле. При этом Петрушевская не очеркист и не бытописатель, она не "списывает" явления с действительности, просто во всем, что она пишет, каким бы фантасмагорическим концентратом бытия ни оказывались, в конце концов, её произведения, всегда учтена правда как она есть, как все мы её, сознательно или бессознательно, чувствуем. Эту правду Петрушевская натруженно извлекает из темной массы мелких событий, из жутковатого, но вполне обычного сплетения судеб, воли и характеров, вообще из вещей, вполне обыкновенных, она пишет эту правду торопливой скороговоркой, словно бы и впрямь просто перечисляя такие обстоятельства, от которых, если задуматься, кровь стынет в жилах:

"Её Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она вышла только из колонии и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам мне в растроганности рассказал об этом, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про её отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру, и они её несколько месяцев не выпускали, как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это всё история, это теперь никого не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается" ("Такая девочка").

Петрушевская никогда не говорит того, чего не знает или в чем не до конца уверена, никогда не заставляет своих героев выламываться, ходить по канату или становиться на руки, она учитывает естественные свойства человеческой души, её мощные амплитуды: от высокого благородства до неправдоподобной низости. И словно в благодарность за эту профессиональную преданность и дотошность, за эту негромкую, старательно прячущуюся боль, за это умение забыть о себе, на страницах её движутся живые люди с их страхами, смертями и простейшими заботами:

"У Петрова моего это бывает по три-четыре раза в год, такая любовь, вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего эта-

жа. Я прямо дрожала от нетерпения всё кончить... А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом, и я привязывала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда мы еще только получили эту комнату, и еще Саши не было, и я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий и всё никак не держался на костыле" ("Такая девочка").

То, как Петрушевская пишет деталь, ошеломляет меня. Вот этот крепкий, изолированный хлорвинилом провод, который торопливо привязывает к какому-то непонятно зачем здесь взявшемуся, но тоже очень зримому, плотновещественному костылю обезумевшая женщина, а другой конец – петлю – непослушными руками натягивает себе на шею, этот провод накрепко врезается в сознание, и с его помощью незаметно, без всяких претензий и видимых усилий, во всем тексте осуществляется какая-то особенная художественная достоверность. Слово точно падает на найденный предмет, извлекает его из толщи других предметов и словно бы ввинчивается в туго поддающуюся, вязкую субстанцию человеческого существования, которое именно так и происходит, так и совершается: на уровне мелких сквозных подробностей, прилипающих к рукам бесчисленных деталей, застревающих в горле слов. Оно, наше существование, происходит именно так: с внешней необязательностью совершаемого, с раздробленностью на часы и секунды, и, несмотря на это, всё же всегда являет собой некое сложно обра-

зованное целое, с присущими всякому целому неповторимостью и смыслом. Торопливая скороговорка Петрушевской, её сознательное перемешивание в размерах одной стилистической единицы (фразы, абзаца) внешне необязательного, случайного с драматически-крупным, адекватно самому течению жизни:

"Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший её на улице Стулиной и на той же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неположенном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Всё сплелось в этом страшном несчастном случае: то, что отец Мариши хотел по-мужски поговорить с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, и Серж нежно укладывал Сонечку спать и только тогда уходил к другой, а утром так и так Соня просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил Бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же, у порога дочернего дома, на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого". ("Свой круг".)

Проза Петрушевской дерзка по замыслу и беспощадна по смыслу. В беспощадности её

иногда проступает что-то от последнего приговора. И если даже я по-человечески не могу во всем с ней согласиться, категоричность её утверждений не раздражает меня и не корбит. В отличие от инфантилизма Толстой в утверждениях Петрушевской есть какая-то подкупающая выстраданность, что-то похожее на поздние сентенции Льва Толстого, которые, независимо от того, соглашаешься ты с ними или нет, всегда вызывают ответную душевную работу, заставляют прислушаться, вдуматься, переболеть.

"Тут я поняла, что теряю всё, весь мир. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлены на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума, он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, всё так же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет... Это сознание его близкой измены обескураживало меня... Мама тоже уже не любила меня... Да она никогда не любила меня как человека, а только как своё порождение, свою плоть и кровь" ("Такая девочка").

Несмотря на густую вещественность и детализированность, проза Петрушевской полна воздуха и пространства. Более того в ней всегда присутствует космос, некий огромный "мир вообще", в который как бы впаян "малый" мир рассказа:

"Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — всё это пролетело мимо" ("Свой круг").

В каждом сюжете вытаскивается внутренний выход из узкого пространства захваченных им событий в свободную тревожащую бесконечность, где очищенные от всякого прикладного, случайного, сиюминутного, совершаются события другого масштаба и действуют первоосновы бытия:

"Она на меня с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух" (выделено мною. — И. М.) ("Такая девочка").

В раскрепощенной от всего сиюминутного сфере и сконцентрированы те мощные чувства и силы, которые независимо от воли людей управляют их суетной затравленной жизнью.

Странная героиня "Такой девочки" плачет, не хочет жить, не находит себе места. Почему? На уровне просто сюжета рассказа это легко объяснимо: девочка прошла десятки мужских рук и колонию, её искалечили, смяли, оглушили на всю жизнь, у неё тяжелое нервное истощение, от которого врач прописал уколы алоэ, — всё это так, но Петрушевская умудря-

ется дерзко, словно бы и не удостаивая читателя никаким внятным объяснением, опрокинуть эту первичную "практическую" логику, вдруг назвав свою героиню "совестью мира" и заставив её открыться в глубоком и совершенно не подчиненном сюжету страхе, который на самом-то деле и виноват во всей её *так* (в слезах и муке) текущей жизни, которая теперь, ко времени происходящего в рассказе, внешне вполне благополучна и безобидна. Девочка эта, "совесть мира", воплотившая собой как бы обнаженный нерв человечества, хрупкость его, слабость его, вдруг выговаривает опухшими от слез губами: "Я боюсь бомбы".

Какая бомба грозит ей? Почему вдруг бомба? Но автор - повторяю - не снисходит до того, чтобы подкрепить этот страх какой бы то ни было житейской логикой: военным детством или, на худой конец, психической неуравновешенностью, нет, главное то, что независимо от своей жизни девочка чувствует, сколько зла разлито в мире, сколько жестокости, взаимных предательств, глухой безответственности накоплено людьми, и только потому она бьется и в слезах катается по неубранной постели, что её душа приняла на себя весь этот общий болевой удар и одна расплачивается за всех, собирая в себе чужие, невнятные, непроявленные страхи, как в фокусе, и детски-наивно формулируя их: "Я боюсь бомбы..." То есть - зла, физически и до конца реализованного, безответственности и жестокости во плоти и крови.

Подобно самым большим мастерам Петрушевская завидно-легко обращается со своим материалом. При этом в легкости её нет ни капли

произвола, и все свободные "виражи" сюжетов (сознательно повторяю слово, уже прозвучавшее по поводу Т. Толстой) исполнены той самой драматической *неизбежности*, о которой я уже писала.

Женщина, муж которой только что женился на её подруге, совершенно неожиданно избивает своего тихого семилетнего сына. Поначалу у читателя даже дух захватывает: это что такое? Абсурд какой-то!

"... я, наконец, открыла дверь, и все они увидели Алешку, который спал, сидя на ступеньках.

Я вскочила, подняла его и с диким криком "ты что, ты где?" ударила его по лицу так, что у ребенка полилась из носа кровь, и он, не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, но тут на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули" ("Свой круг").

Но Петрушевскую, в отличие от Т. Толстой, не занимает никакая нарочитая оригинальность, в "трюках" как таковых она вообще не испытывает ни малейшей надобности и потому, совершив этот "вираж", от которого у бедняги-читателя земля ушла из-под ног, она так же спокойно и точно возвращает его на землю, на то самое место, с которого только что сорвала и яростно, высоко подбросила:

"Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно растерзать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело" ("Свой круг").

Женщина, избившая ребенка, знает, что ей предстоит скоро умереть. Более того: она знает, что после её смерти ребенок пойдет по интернатам и станет с трудом принимаемым гостем "в своем родном отцовском доме". Ей не осталось, таким образом, ничего другого, как поразить своего бывшего мужа и своих бывших друзей этой сумасшедшей абсурдной жестокостью, от которой у них, как и у читателя, захватило дух и которая продиктовала им все будущее отношение к этому дотоле никому не нужному и не интересному ребенку:

"... и вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алешки с его благородными новыми родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я всё рассчитала и так оно и будет" ("Свой круг").

Абсурд, нащупанный Петрушевской, конечно, в другом. В том, что человеку приходится пускаться на такие изощренные болезненные хитрости, чтобы пробудить в родном отце чувство ответственности по отношению к собственному ребенку, а в других взрослых людях — чувство элементарного сострадания к маленькому, беспомощному существу. Он в том, что люди умудряются так сосредоточиться на себе, что им перестают быть внятными самые простые и самые внятные вещи, что их живая человечность требует порою самых неправдоподобных и сюрреалистических усилий, чтобы быть обнаруженной, — да, в этом действительно заключен тот глубокий абсурд, к которому мы все, на беду свою, притерпелись, с ко-

торыми миримся и живем и соглашаемся, пока беспощадные взрывы, подобные тем, которые и осуществляет в своей прозе Людмила Петрушевская, не приковывают к этому абсурду наше беспечное внимание.

Однако при всей своей жесткости и беспощадности, при том, какому безжалостному гротеску она подвергает иногда своих героев, Петрушевская на какой-то последней глубине безусловно терпима к их слабостям и несовершенствам. Чуждаясь традиций прозы психологической, она никогда не "расковыривает" на глазах читателя человеческое нутро, никогда не "анатомирует" его, но пишет уже как бы готовый итог своего многолетнего внимательного наблюдения, учитывая, пользуясь терминологией Бахтина, "низ" и "верх" человека. Мне кажется, что она придерживается той простой истины, которую когда-то выразил Булгаков умудренными словами Воланда: "... они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем..."

Главное то, что Петрушевская людьми не играет. Не приписывает им ни демонических, ни ангельских характеристик, не натяливает им шутовских колпаков, в угол на горох не ставит. Люди как люди. В основном, несчастливые. Запутавшиеся и слабые, как дети. Любящие своих детей. Боящиеся жизни и прячущие свой страх. Обреченные жить на свете, в котором всё давным-давно, не по их воле и не по их вине, ожесточено и запутано. Обреченные, в конце концов, умереть и расстаться друг с другом.

А вот о том, как Петрушевская пишет смерть, мне хотелось бы сказать особо.

Героиня рассказа "Свой круг" в пасхальное воскресенье приводит сына на могилы своих недавно умерших родителей:

"Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда, кажется, что всё обошлось, в конце концов, хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, всё пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток всё смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблино чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, всё позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки покрошили и разложили, как это делали на других соседских могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро, все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело" ("Свой круг").

Если бы я хотела быстро убедить кого-то, что Людмила Петрушевская – помимо её литературного таланта – еще и незаурядно тонкий и глубокий человек, мне кажется, я бы просто ограничилась этой цитатой и поставила бы точку. Почему? Да потому что в ней я нахо-

жу прямое подтверждение тому, что Петрушевская обладает глубоко гармоническим, а, может быть, лучше сказать: глубоко-религиозным сознанием, которое для меня лично заключается в том интуитивном, неподдельном чувстве стойкого мирового "порядка", которым дышит приведенный выше отрывок. Я говорю о том подспудном, том "подводном" покое, который редко ощущается нами, ибо человеческий взгляд на мир слишком тесно связан как с душевным состоянием самого человека, почти всегда неустойчивого и редко удовлетворенного, так и с бросающейся в глаза всякому повышенной неровностью нашей, в основном, неудавшейся, драматической жизни. И только иногда — как в темной комнате сквозь неплотную щель между занавесками сверкнет вдруг кусок голубого, летнего, тихого, — так и любого из нас (пусть неосознанно), но ведь поражает же хоть изредка это благотворное, уверенное чувство того, что в жизни есть какая-то высшая продуманность и законченность, что-то безусловное, общее для всех и разумное, хотя при этом хуже всего понимаемое именно разумом и лучше всего — сердцем, если, конечно, оно расположено и готово к этому пониманию.

Мне кажется, что Людмиле Петрушевской удалось с поразительной простотой, как-то "по-домашнему", своим ровным, прозрачным словом, рождающим простейшие образы — ребенок, сажающий маргаритки, птицы, люди, мирно закусывающие на родных могилах — ей удалось этим словом связать воедино жизнь и смерть, свести их к общему гармоническому знаменателю и как бы незаметно ободрить, успокоить

читателя, словно бы исподтишка пожать ему руку.

При всей взрывчатости и "раблезианской" откровенности проза Петрушевской на удивление пластична и, я бы сказала, "мускулиста". Автор не позволяет себе ни единой "слабинки", а пишет только то, что окончательно "вызрело", что, как сказал Гоголь в своей "прощальной"* повести, "выпелось из души моей".

Очевидно это и придает произведениям Людмилы Петрушевской ту счастливую неожиданность открытий, которой всегда славится искусство.



* "Прощальной" повестью Гоголь называл второй том "Мертвых душ".

Борис КАМКОВ¹

Письма из тюрьмы и ссылки (1922-1924 гг.)*

Письмо первое

Москва, Фурманный пер., д. 18
Г-ну М. Л. Винаверу² для
Евгении Андреевны [Камковой]

14 марта 1922 г.

Дорогие Анюта и Луй,

Евгения Андреевна сообщила мне на свидании, что ею получена от вас посылка. В "доказательство" привлекла солидный куль всякого добра.

* Публикация Юрия Фельштинского. Печатается по тексту рукописных оригиналов, хранящихся в архиве Гуверовского института (Станфорд, Калифорния, США), кол. Б. И. Николаевского, ящик 63, папка 18. Публикуется с любезного разрешения администрации архива; с незначительными сокращениями, обозначенными в тексте знаком [...].

Раньше всего я хочу поблагодарить вас за внимание. Для меня это было большой неожиданностью. Время и расстояние на всё посягают, посягают и на родство и дружбу. После отъезда Анюты из Петрограда я о вас не имел никаких вестей, и, будучи несколько оторванным и от родных — до их переезда в Лодзь, — был лишен возможности с кем бы то ни было, за пределами РСФСР живущим, связаться. Недавно встретил ваши имена среди перечисленных сотрудников берлинской социал-демократической (независимой) газеты. Из этого я логически мог лишь заключить, что вы живы и продолжаете жить в Нью-Йорке. Вот и всё. К сожалению, посылка, благополучно перебравшаяся через океан, поскольку она таит глубокое молчание о вещах нематериального свойства, сферу моего знания не расширила. [Слово неразб. - Публ.] — просьба написать несколько слов. Чтобы расположить вас к этому, скажу кое-что о себе.

К сожалению, придется быть очень кратким и сдержанным. Раз вы сотрудничаете в русской социалистической газете, то, думаю, что без всякого комментария это самоограничение вам будет вполне понятно.

После почти двухлетних скитаний на нелегальном положении раба божьего все же изловили и изолировали. К концу второго года изоляции он, наконец, узнал — к десятому дню поста, — что всё это не "так себе", не "нарочно", как говорят дети, а вполне серьезно и по всем нормам существующего узаконения. В 18-м году его заочно судили и, как полагается, осудили на три года принудительных работ. Правда, много воды утекло с того времени. В Германии произошла революция, Виль-

гельм, который требовал крови за Мирбаха, уехал в Голландию на постоянное жительство. Было опубликовано несколько дюжин амнистий. И многое другое... Тем не менее приходится досиживать.

Как себя чувствуют революционеры, особенно старого закала, сейчас в тюрьмах, — я описать не берусь. Здесь нужен талант Достоевского. Скажу только, что это сплошная душевная пытка и моральная мука... В связи с этим сидение, Сибирь, этапы и прочие прелести старого режима порой вспоминаются как нечто "светлое", "отрадное". Раньше чувствовалось только надругание над телом, сейчас и над душой, над душой больше, чем над телом.

Ничего удивительного, что всюду такое разложение, что столько перебежчиков, столько ренегатов, столько познавших "истину" за тюремной решеткой! Режим у нас последнее время сносный. Главное, перестали перебрасывать каждые две недели из тюрьмы в тюрьму. Но зато нас сейчас держат небольшими группами по 10-20 человек. Время массовых скоплений (300-400 человек!) прошло безвозвратно. В [название заштриховано и не поддается прочтению. - Публ.] тюрьме, где я обретаюсь, нас сейчас 10 человек: 4 левых эсера, 2 правых, 1 меньшевик (кажется, вы его по съезду знаете: Алекс. Самойлович Локкерман из Ростова) и 3 анархиста. Живем очень дружно, общей коммуной и, не в пример прошлым временам, не ломаем копья в дискуссиях и безрезультатных попытках друг друга в чем-то убедить. Мы приблизительно сошлись на том, что все в достаточной мере "хороши", что все мы заслуживаем... снисхождения. Как видите, настроения

минорные. Книги доставляются сейчас сравнительно хорошо, и время коротаем, глотая, порой "в лошадиных дозах", чужие запечатленные мысли. Это сейчас не совсем безопасное занятие, ибо в силу совокупности условий – своих... очень мало.

О том, что у меня имеется сын, что имя ему Вадим, что он у родных в Лодзи, вы, наверное, знаете. Попал он к нашим не легко. Раньше легче было без копейки в кармане совершить кругосветное путешествие, чем сейчас простому смертному, если ему даже 2 1/2 года, выехать за пределы "избранной" страны. Пережил и перестрадал за свои 2 1/2 года мальчик немало, и меня нисколько не удивляет сообщение мамы, что от одной мысли, что его могут увезти опять в Москву, Вадя лишается аппетита – на несколько дней. Я думаю, также себя почувствовали бы, при аналогичной перспективе, даже... Мартов³ и Абрамович⁴.

На этом, дорогие, на сей раз закончу. Надеюсь скоро получить ответ и вновь вам написать. [...]

Целую вас горячо. Ваш Борис.

Письмо второе

6 августа 1923 г.

Челябинск, улица Всеобуча 139.
Евгении Андреевне Камковой

Дорогой Луй,
Ваше письмо застало меня уже в Челябинске.

История моего перемещения такова: к исходу срока, совершенно неожиданно, я был вызван в контору, усажен в автомобиль и доставлен прямо к поезду. Приехавши, я был обрадован вестью, что через два дня ко мне приедет на свидание Женя. Я терялся в догадках, но дело оказалось далеко не сложным: в тот же день была увезена и она, только не сразу на вокзал, и поэтому прибыла на пару дней позже. Женя (жена моя) получила три года ссылки. Та же участь постигла меня. Итак, мы оба в Челябинске, оба ссыльные. Я вышел на волю из местного "изолятора", где пересидел 1 1/2 месяца, Женя была освобождена сразу после прибытия. Вот Вам лучшая иллюстрация, что нелепые слухи о преследовании социалистов в социалистической республике лишены всякой почвы. Вам, правда, может показаться несколько странным, в силу Ваших буржуазных предрасудков, как это я, отсидев свой трехлетний срок по постановлению трибунала, все же не на свободе, а сослан на три года. Но дело обстоит очень просто, и никакого произвола здесь усмотреть нельзя. Единственное в мире пролетарское государство окружено врагами, и естественно, если оно неблагонадежные элементы изолирует. Для этого имеется сейчас специальный орган при комиссариате внутренних дел, который и прикрепил меня на три года к Челябинску. Евгению Андреевну эта неприятность постигла, видимо, исключительно из гуманитарных соображений, чтобы предоставить ей возможность после трехлетней разлуки быть вместе с мужем. Что касается "духа", то перемен больших в себе не ощущаю, да и вряд ли они имеются. С "телом" дело обстоит несколько ху-

же. Голодный период одно время почти у всех, находившихся в равных со мной условиях, вызвал цингу, а она, в свою очередь, опустошила основательно рот. Возможности подлечиться не было. Частые воздержания от пищи из "принципиальных" соображений [т. е. голодовки. - Публ.] произвели некоторое опустошение в головном уборе. [...] Пострадал, таким образом, больше с точки зрения эстетики. Но это меня мало огорчает, ибо я знаю, - самолично слышал как-то в Киеве из уст компетентного человека, - что как понятия "добра и зла", так и понятие "красоты" - буржуазные выдумки в целях закабаления пролетариата. В таком гнусном деле я участия принимать не намерен, а посею не жалуюсь, а лишь констатирую.

Я на свободе всего 16 дней. Покуда не устроились и живем как переселенцы. Надеюсь, учитывая наши минимальные требования, кое-как наладим наше житье-бытье. Городишко - маленький, грязный, скучный, по ту сторону того, что именуется цивилизацией и культурой. Но и за то спасибо. Многие совершили путешествия в более отдаленные и глухие места.

Как и Вам, дорогой Луй, хотелось бы и мне о многом поговорить, многим поделиться. К сожалению, это невозможно. Скажу лишь, что больше чем когда-либо я основной добродетелью социалиста считаю терпимость и уважение к чужому честному убеждению, к чужой выстраданной мысли. Врагом прогресса является не чужая идея, конечно в пределах общего мировоззрения, а неразборчивость средств в осуществлении любой идеи.

На этом покуда кончу.

Целую крепко.

Р. С. Мы ни в чем не нуждаемся. [...]

Письмо третье

22 апреля 1924 г.

Дорогие Луй и Анюта,

возможно, послания мои не доходят. Чем иным объяснить Ваше молчание? Так думал я до получения письма мамы, в коем сообщается об утере адреса. Потому, окрыленный надеждой, вновь пишу. Но о чем?

Если когда-нибудь была доля истины в афоризме: "слово – серебро, молчание – золото", то сейчас это абсолютная, всеми проникновенно усвоенная норма личного и общественного поведения.

Поговорим посему о сугубо житейских делах.

Относительную перемену в условиях существования я сейчас уже слабо воспринимаю. Надоела эта дыра по последнего предела, а взглянуть за ее границы нет никакой возможности. Мышь в мышеловке – вот приблизительно субъективное ощущение. А об объективном положении и грядущем говорить не приходится, ибо оно регулируется $n + 1$ обстоятельствами, крайне сложными, мирового (чуть было не сказал – космического!) характера. Итак – сидим и не рыпаемся.

Морозы, которым при нашем демисезонном одеянии, казалось, конца не будет, все же прошли, и весна в полной силе. Но и весна здесь особая: ничего не цветет, нет пока и зелени. Зато тепло, и за это спасибо.

В виде одного из многих курьезов могу сообщить, что при очередном сокращении штатов меня уволили с маленького технического секретарского местечка, которое я занимал! Женя еще продолжает преподавать в школе, правда, это занятие носит уже почти филантропический характер.

Если не считать рыболовство (удочкой) работой, я почти ничего не делаю. Одно время, когда был на всем готовом, решил побаловаться небольшим историческим исследованием (не боги горшки обжигают!) о Парижской коммуне, благо в моем распоряжении случайно оказались весьма ценные материалы. На днях опять взялся за это дело, но работать чрезвычайно трудно, так как по независящим обстоятельствам каждый раз пропадает то один, то другой кусок рукописи.

Хотел бы, дорогие, об очень многом написать, поделиться грех как хочется, но *[два слова неразборчивы. - Публ.]*.

Как живете вы? Как Женя и ее сын и ваш внучек (как его зовут)? Когда собираетесь в Европу? Целую вас крепко. Борис. [...]

Примечания

1. Борис Камков (1885–1938) – один из руководителей партии левых эсеров (ПЛСР). После убийства в Москве германского посла графа Мирбаха приговором

трибунала от 27 ноября 1918 года вместе с прочими функционерами ПЛСР, по обвинению "в контрреволюционном заговоре ЦК партии социалистов-революционеров и других лиц той же партии против советской власти и революции", был заочно приговорен к трем годам принудительных работ. Как свидетельствуют письма, отсидывал срок с лета 1920 по лето 1923 года; затем был в ссылках, из которых так никогда и не выходил, пока не был расстрелян.

2. М. Л. Винавер – бывший социал-демократ. После революции работал помощником Е. Пешковой в Политическом Красном Кресте (ПКК) до самого его закрытия в 1937 году. Тогда же был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. В конце 1941 года ему удалось испросить разрешение на вступление в польскую армию ген. Андерса, которая почти сплошь была набрана из поляков-заключенных советских лагерей. Заболел и умер во время передислокации армии Андерса в Иран летом 1942 года.

Видимо, в бытность его работником ПКК через него шла почта политзаключенных.

3. Ю. Мартов – лидер меньшевистской партии.

4. Р. Абрамович – один из руководителей меньшевистской фракции. В эмиграции – редактор меньшевистского журнала "Социалистический вестник".



Глеб АНИЩЕНКО

Кто виноват?*

В последнее время официальная печать наполнена тревожным и невнятным шумом по поводу патриотического объединения "Память". Трезвон, начавшийся у нас, докатился до Запада и отозвался даже в Европейском парламенте. Однако на вопрос "что такое «Память»?" никто почти из читающих советскую прессу, думается, не сможет вразумительно ответить. В самом деле, какая это организация? Христианская? Фашистская? Коммунистическая? Патриотическая? Самой "Памяти" высказаться не дают. Объединение представляют в печати исключительно его противники. Причем бросается в глаза, что каждый из них обрушивается на тот предмет, который именно данному автору статьи наиболее антипатичен (не так важно, насколько сам предмет связан с "Памятью"): одни бичуют христианство, другие — антисемитизм, третьи — почвенничество и т. д. Поэтому объективный читатель, не будучи в состоянии соединить

* Печатается по рукописной копии, полученной в начале с. г. Опубликовано в независимом общественно-политическом журнале "Гласность". Выпуск 15. Москва, февраль 1988. Этот выпуск также напечатан в качестве приложения к газете "Русская мысль" 24 марта 1989 г.

все разномастные признаки, не может представить себе "Память" как что-то определенное и цельное.

Остановлюсь на последней по времени и самой любопытной, на мой взгляд, публикации: беседе доктора экономических наук Г. Х. Попова и Никиты Аджубея ("Знамя", 1988, № 1).

"Память" понимается Поповым весьма своеобразно. Патриотическое объединение занимает, оказывается, позицию, при которой правом на память обладает только один русский народ (я лишь слегка изменяю цитаты для удобства изложения). Память своего народа считается "правильной", а другого - "неправильной". Отсюда, - делает вывод Попов, - вытекает, что есть "полноценные" и "неполноценные" народы. "Исключительность нации - избранный народ с его особым правом - суть идеологии национал-социализма (который мы в просторечии называем фашизмом). Если следовать этой логике... то можно прийти к заключению: память имеет только тот народ, который сегодня взял верх. Правом на память обладает тот, кто сильнее сегодня". В связи с такой позицией Попов поднимает множество разнообразнейших вопросов: русские или татары должны ставить памятник на реке Калке? как относиться к Шамилю? каким образом шло расселение русского народа? и т. д.

Все это прекрасно, только кто выдвинул первоначальные посылки данной позиции? члены патриотического объединения? или сам Попов? После прослушивания достаточного числа выступлений руководителей и членов "Памяти", я совершенно уверен, что ни под одним из приведенных положений практически никто из них

не подписался бы, а некоторые утверждения вызвали бы прямой протест (например, то, что русский народ "сегодня взял верх"). Ни из каких высказываний членов патриотического объединения позиция, обрисованная Поповым, не вытекает. Это мое мнение. Рассудить меня и доктора наук легко могли бы сами "памятцы". Но именно их-то Попов не хочет слушать сам и страшно боится, что услышу даже в пересказе, например, я: "Когда в газете с 11-миллионным тиражом подробно излагается точка зрения руководителей общества "Память", то уже не знаешь: в плюс это идет или в минус. Не пропаганда ли это их точки зрения? Если из 11 миллионов читателей хотя бы одна тысяча потом захочет следовать изложенной программе, какова, пусть невольная, роль газеты?.. В нынешней критике "Памяти" я вижу... ознакомительство. Запрещать, конечно, ничего не нужно. Но превращать критику в информацию или даже пропаганду тоже не следует. Здесь необходимо находить правильные пропорции". Я думаю, что Поповым выведена классическая "пропорция" нашей "гласности": запрещать не нужно, но и разрешать не следует.

В размышлениях Попова о Ермаке и Шамиле, Иване Грозном и Александре Пушкине патриотическое объединение опять как-то растворяется, уходит в тень. Я же хочу сказать хоть несколько слов о проблематике самой "Памяти". Тут я совершенно согласен с подходом, который предлагает Аджубей: "...Главное не столько в разборе конкретных призывов и акций этого общества (хотя такой разбор, конечно, нужен), а в выяснении того, почему на нашей почве явление такого рода столь быстро пошло в

рост". Действительно, рассматривая отдельные призывы, совершенно невозможно понять, чем же "Память" с такой силой притягивает одних людей и, одновременно, с такой же отталкивает других. Планом переброски рек, например, против которого восставала "Память", как выяснилось, никто кроме некоторых подведомственных руководителей и исполнителей не дорожит: тут ничто не отделяет патриотическое объединение от общества в целом. С другой стороны, не думаю, чтобы многие разделили яростный гнев лидеров "Памяти" по поводу того, что памятник Ленину на Калужской площади, если посмотреть на него с определенной точки, предстанет в срамном виде, у большинства это наблюдение может вызвать лишь легкое хихикающее любопытство. Людям, которые возмущены разрушением храмов, вовсе не обязательно блокироваться с поборниками трезвости и совместно выступать против поклонников Мандельштама или Пастернака. А ведь блокируются же и выступают.

Возьмем наиглавнейшие и серьезнейшие тезисы "Памяти". "Патриотизм" – в чьих устах ни перебивало это слово только за последние годы! Им пользовались и самые ортодоксальные коммунистические деятели и самые радикальные инакомыслящие. Это слово произносили с большой пользой для себя писатели Анатолий Софронов и Владимир Солоухин, за это слово были брошены в лагеря писатели Леонид Бородин и Владимир Осипов. Но ни вокруг одних, ни вокруг других никогда не возникало той бури, которая поднялась сейчас из-за патриотического объединения "Память", произносящего это же самое слово. С Софроновым общество

теплохладно мирилось и так же теплохладно смотрело, как кочует по тюрьмам и лагерям Бородин. Или еще один из самых главных лозунгов "Памяти": "Сохраним памятники старины!" В те годы, когда памятники варварски уничтожались на наших глазах и можно было чисто лично переживать за именно этот храм, эту улицу, этот дом, общество в целом хранило спокойствие. Сейчас же, когда уже почти не осталось того, что можно сохранять и охранять, этот лозунг звучит из объединения "Память" как вечевой колокол и собирает очень многих людей.

Думаю, что все приведенные примеры вполне доказывают необходимость рассматривать не отдельные, пусть очень важные, призывы "Памяти", а ее, так сказать, идейно-социальный двигатель, который приводит в действие весь механизм, затягивает одних людей или отбрасывает других. Попробую сформулировать, в чем, на мой взгляд, состоит главная притягательная сила "Памяти".

1. В последние 20-30 лет в русском обществе шел неуклонный процесс, оно разворачивалось: от почти исчезнувших миражей светлого будущего обращало свой взгляд к уже едва различимым вехам оклеветанного прошлого России. Сначала в этом процессе участвовали единицы, затем - небольшие группы. В 80-е годы поиск национально-религиозных корней уже является одной из самых главных тенденций жизни сознательного русского общества. "Память" встала на эту твердую почву и сразу оказалась в довольно многочисленном окружении людей в общем-то с весьма разными взглядами и позициями.

2. "Память" заявила: русская культура и национальное самосознание целенаправленно разрушаются и в настоящее время близки к гибели. Подобное заявление было далеко не первым, но оно получило наибольший резонанс. Резонатором стало само время. Попов и Аджубей говорят о "Памяти" как о "перестроечном" явлении. Это - грубая ошибка: объединение возникло до развертывания "перестройки" и является "доперестроечным" по сути. В то время, когда при очевидности всеобщего развала признавались лишь "отдельные недостатки", "Память" поставила вопрос о разрушении русской культуры довольно радикально и правдиво. Именно эта радикальность для многих была очень привлекательной. Но вместе с тем она не была и пугающей. Надо помнить, что патриотическое объединение всегда существовало почти легально: ему предоставляли помещения официальные организации, никто не разгонял собрания "Памяти". Поэтому в эпоху всеобщего страха объединение не отпугивало людей "диссидентским духом": радикально, но не против власти. Руководители объединения, по-видимому, отчетливо понимали, что лояльность является одной из главных составных его популярности, из-за этого, вероятно, они так заискивали в своих выступлениях перед государственной властью. Конечно, имело большое значение и то, что призыв не дать окончательно уничтожить русскую культуру исходил не от одного (пусть даже очень известного) человека, а от целой группы, от почти разрешенной организации.

3. "Память" не просто заявила о разрушении культуры. Она поставила активный и очень

соблазнительный вопрос: кто виноват? В то время у нас в стране вообще не было виноватых, т. к. не было и вины – все же шло хорошо. А тут – в неподвижную эпоху безвременья – призыв к действию, к реальной борьбе с разрушителями.

4. "Память" предельно конкретно ответила на поставленный вопрос: виновны организованные антирусские силы, ядром которых являются сионисты (в выступлениях деятелей объединения они представляли под разными кличками: жидомасоны, космополиты, империалисты, бюрократы, троцкисты, приспешники Кагановича и т. д.).

Ответ этот был не менее привлекателен, чем вопрос. Прежде всего – своей конкретностью и определенностью. Власти всегда навязывали мифического "врага народа". Эта абстракция страшна для людей тем, что "врагом" неожиданно для себя легко может стать любой человек. Неожиданно для себя стать евреем гораздо труднее. Другой миф, спускаемый сверху, – "дядя Сэм", размахивающий атомной бомбой. Но этот "враг" в последнее время стал плохо различим за мельканием западных курток и штанов, атомные взрывы здорово заглушаются рок-музыкой. А у "Памяти" – вовсе не фикция, тут в основе лежит реальнейший и серьезнейший вопрос – проблема драматических (если не трагических) отношений между русским и еврейским народами в русской истории и в русской жизни. Но эта же проблема может быть и питательной средой для возникновения всякого рода паразитических явлений.

И, наверное, самое привлекательное в решении, которое предложила "Память", это узаконенная безответственность. В силу многих

причин безответственность стала, пожалуй, самой характерной чертой нашего общества. Все мы страшно боимся любой ответственности, не выдерживаем ее груза. А тут все решается просто: в том, что произошло и происходит с моей страной, виноват не я и не мы, а внешний враг. Таким образом, безответственность личная переводится в общенародную, общенациональную. Мы все оказываемся виновными лишь в том, что вовремя не рассмотрели сильного и хитрого врага. Но подобную оплошность можно и нужно исправить. К этому и призывает "Память".

Ответ, данный "Памятью" на вопрос "кто виноват?", оказался привлекательным и для властей. Приведу один пример. В декабре 1986 года, когда "гласность" делала лишь первые шаги, меня пригласили в КГБ и начали разговор именно о "Памяти". Сотрудники, которые вели беседу, четко распределили роли. Один рисовал страшную картину мирового жидомасонского заговора, другой же пытался показать не менее жуткую угрозу русского фашизма, который якобы проповедует объединение "Память" и тайная организация "Витязь". На сцене сражались хитрейший жидомасон и фашистский громила из "Памяти". Не было на сцене лишь представителей советской власти — сотрудников КГБ. Они, как искуснейшие актеры, растворились под масками. Я был свободен выбирать "врага" на мой вкус: сионизм ли, русский ли фашизм, но только не коммунизм. Он просто исчез в шумной возне национальной борьбы. Думаю, этот эпизод во многом позволяет ответить на вопрос, как власти относятся к "Памяти", евреям, национальным проблемам.

Итак, обратившись к проблеме национального самосознания, "Память" обрела почву; сформулировав тезис целенаправленного разрушения русской культуры, она получила знамя; вопрос "кто виноват?" дал энергию; ответ на этот вопрос обозначил врага.

Людям, которые хотят искренне принять либо развенчать "Память", следует разбирать именно эти проблемы в комплексе, вырабатывать свое отношение именно к этому комплексу. Непростительно становиться в ряды "Памяти" только потому, что ты протестуешь против разрушения храмов. Но и задыхаться от негодования по поводу того, что "памятцы" просматривают на свет газеты в поисках зловещей символики, тоже непростительно.

Последняя реакция характерна прежде всего для интеллигенции. Ее интеллектуально-эстетически оскорбляют заявления "Памяти", скажем, о том, что младенцев спаивают с помощью кефира, в котором содержится несколько процентов алкоголя, или восхищение полководческими способностями графа Ростопчина (в "Памяти" его почему-то величают князем), запустившего дирижабль, дабы испугать Наполеона. Этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы средний интеллигент объявил членов объединения недумками или параноиками и раз навсегда отказался разбираться в проблемах "Памяти". А разобраться в этом всем нам, на мой взгляд, крайне необходимо. Вопросы, поставленные "Памятью" и связанные с нею, реальны и актуальны. Они требуют своего разрешения в отличие от проблемы памятников на реке Калке.

Что изменилось сейчас в положении общества "Память"? Вопрос о том, что русская культура выжигалась огнем и мечом, достаточно прямо ставится в официальной и в независимой печати. "Память" потеряла монополию. Патриот может найти прибежище в других объединениях, печатных органах. Не менее громко звучит и вопрос "кто виноват?". Что же касается ответа на него, то в официальной прессе почти не раздается голосов, нарушающих общий хор: Сталин да еще "объективные причины". Тут "Память" отходит в тень: ответ явно не ее. Сталин для членов объединения – одна из самых безынтересных фигур русской истории, они почти ничего не говорят о нем. Вот кто их крайне интересует, так это Каганович: ему приписывают все сталинские злодеяния. Точно так же, как все ленинские – Троцкому. Привлекательность "Памяти" для власти объясняется еще и этим. Власть нисколько не дорожит Кагановичем и, уж тем более, Троцким. Для нее важно, чтобы не задевалась идеология как таковая. Раньше "Память", выдвигая на первый план периферийных злодеев – Троцкого и Кагановича – помогала скрыть главных – Ленина и Сталина. Сейчас же Сталин отдан на всеобщее публичное поругание, он сам выполняет функцию пугала—"громоотвода", на него сваливают все, что за 70 лет сделано в России и с Россией. Поэтому в настоящее время, когда власть нашла и выкинула толпе "виновника", поддержка "Памяти" ей не очень нужна: в прессе идет планомерная травля объединения.

Разные круги высказывают прямо противоположные точки зрения на взаимоотношения властей и "Памяти". Одни говорят о полуявном

инспирировании патриотического движения государством, другие же видят в "Памяти" объект наиболее сурового преследования. Я не разделяю ни одного из этих взглядов. Коммунистическая власть и группировки типа "Памяти" могут быть временными союзниками, а могут быть и временными противниками. Но они не могут ни окончательно объединиться, ни стать главными врагами друг друга. Их идеалы лежат в разных областях и могут пересекаться лишь на периферии. Для власти целью является утверждение коммунистических идеалов, а одним из средств — рычаг национального вопроса. "Память" же именно национальный вопрос ставит во главу угла, а как средство утверждения русского начала согласна использовать коммунистическую власть. "Память", может быть, и стала бы постоянным союзником существующей идеологии, но при условии, если бы та всегда проводила "русскую линию" в стране. Но это невозможно. Во-первых, идеологии в силу ее природы необходимы постоянные изменения внешности, она органически не может закрепить за собой один определенный лик, в том числе и национальный: не может всегда быть русской или всегда быть еврейской. Во-вторых, необходимо утверждение мирового господства именно коммунистических интернациональных идеалов. Поэтому целенаправленно уничтожаются все иные крепки, объединяющие людей, в том числе и национальные. Хотя в какие-то периоды для определенных целей могут использоваться патриотические акции и лозунги. Так было, например, во время 2-й мировой войны. В подобные моменты советская власть и объединения типа "Памяти" могут вы-

ступать как надежные союзники. По такой же схеме строится и отношение власти к "еврейскому вопросу": когда евреи были наиболее рьяными и умелыми проводниками и воплощениями коммунистической идеи, тогда они занимали почти все командные высоты. В тех же случаях и в те периоды, когда появлялись иные тенденции, евреев сажали в тюрьмы и лагеря, расстреливали или использовали как валюту в торговле с Западом.

Итак, идеология может уничтожать, а может и ассимилировать национальное начало, но не является его антиподом. Разрушается то, главным образом, что мешает строительству новой культуры. То же, что стоит в стороне, или даже укрепляет постройку, вполне может быть наполнено новым смыслом и присоединено к ней.

Можно ли, сохраняя архитектурные памятники (о чем так хлопочет "Память"), восстановить национальное самосознание? Прекрасный материал для ответа на этот вопрос дает судьба литературы. Если после революции храмы разрушались, то великим русским писателям XIX века была дана "зеленая улица". Творения гуманнейшей литературы (кроме Достоевского и Лескова да нескольких произведений других писателей) никогда ранее не имели такого массового читателя. Каковы же результаты? Пушкин, пробуждавший "чувства добрые", читался с таким же вдохновением, как Багрицкий или Антокольский, призывавшие к злобе и ненависти. Ощущал ли себя наследником русского гуманизма человек, одинаково умилявшийся Павлику Морозову и Пьеру Безухову? А надо полагать, что "Евгений Онегин", например,

противился включению в новую культуру не меньше, чем любой архитектурный памятник.

История показала, что культуру народа не спасут отреставрированные храмы, могут даже не спасти и те, где идет служба. Самосознание нации зависит от того духа, который царит в храме. Только его не может присвоить себе никакая идеология. Единственный антипод существующей идеологии – Христианство. Если бы удалось изъять из русской культуры христианский стержень, то она перестала бы приходить в прямое противоречие с коммунистическими идеалами¹. Такой эксперимент и попытались провести, в частности, с русской литературой XIX века. Такой эксперимент проводится даже с официальной Православной Церковью в надежде вытравить из нее дух истинного Христианства.

Как же относится к Христианству "Память"? Православие дорого большинству членов объединения потому, что оно является основой русской культуры. Именно потому или прежде всего потому. Патриотизм подлинного христианина состоит в другом: русская культура дорога ему, так как основана на высшей истине – христианских идеалах. Если же Христианство – прежде всего "вера отцов", то некоторые "исторические изыскания" легко могут привести к перемене веры. Это и происходит на периферии "Памяти", где возникают прямо антихристианские (языческие) образования. Однако не думаю, чтобы подобные тенденции (так же, как и возможные антикоммунистические) когда-либо взяли верх и стали определяющими: "Память" слишком стремится к общественной по-

пулярности, к тому, чтобы стать объединяющим центром нации.

Итак, ставя во главу угла национальное начало, "Память" не является ни христианской, ни антихристианской организацией, ни коммунистической, ни антикоммунистической. Только откровенные фальсификаторы могут заявлять об антикоммунистической направленности патриотического объединения. Так журналистка Е. Лосото ("Комсомольская правда", 19 дек. 1987 г.) без всяких оснований приписывает "Памяти" антиленинские и антикоммунистические взгляды нескольких читателей газеты. Это, конечно, всего лишь донос, основанный на фальсификации. С какой стати патриотическое объединение должно отвечать за любого патриота или любого антисемита? "Память" — организация со своими четко очерченными взглядами, которая всегда подчеркивала, что ее платформа не является ни антикоммунистической, ни антисоветской. Напротив, многие лидеры "Памяти" называют себя истинными коммунистами и используют произведения Ленина как цитатник. Хотя, с другой стороны, в полную искренность этих заявлений и цитирований не всегда верится. Сомнительно, чтобы тот же Ленин сам по себе был крайне привлекательной фигурой для многих членов "Памяти" (хотя бы потому, что фамилия его матери — Бланк, да и по другим причинам). Но по тактическим соображениям очень выгодно и вполне возможно цитировать Ленина. А впрочем, я думаю, что разные члены "Памяти" могут совершенно неодинаково относиться к Ленину и к коммунизму. Важно другое: все они не в этой области видят и свои главные идеалы, и своих главных врагов.

Хотя это и не имеет прямого отношения к "Памяти", я хочу коснуться и позиции тех антисемитов-антикоммунистов, чьи взгляды пытается сформулировать Е. Лосото: "Ненавидящие Россию евреи-большевики сломали и испортили все исконно русское. Из ненависти к русским устоям они, мол, и сделали революцию, отняли у эксплуататоров награбленное, провели коллективизацию, поставили на место церковников. Дальше партия продолжала пагубную работу и продолжает до сих пор". Подобная точка зрения мне кажется неверной и вводящей в заблуждение. Вопрос о роли евреев в создании коммунистического учения и воплощении его в жизнь - важный и сложный. Тем не менее, коммунизм есть не националистический, а inferнальный интернациональный феномен. Коммунизм, по своей природе, стремится в идеале к всеохватности, к сметению всех перегородок, существующих между людьми, предполагает всеобщее смешение, а не иерархию любого вида (скажем, господство евреев над не евреями или русских над не русскими). История показывает, что коммунизм никому конкретно не приносит выгоды: ни государству Россия, ни государству Израиль. Богатства России не перекочевали в карманы Ленина или Троцкого, не достались русским или евреям, рабочим или даже партаппаратчикам (если они крадут, то у них стремятся отобрать) - эти богатства исчезли или почти исчезли. Кроме того, необходимо понимать, что господствующая идеология разлагает не только русское, но любое национальное самосознание. Евреев, например, оторванных от своей культуры и религии, у нас в стране ничуть не меньше в

процентном отношении, чем русских (те и другие, кстати, часто объединяются под общими знаменами).

И еще один аспект проблемы. Ну хорошо, в России революцию сделали "евреи-большевики". А в Китае — тоже они? И на Кубе? Многовато евреев получается, но допустим, что так. Тем не менее, главный вопрос остается без ответа. Почему миллионы русских и китайцев, кубинцев и немцев сами искренне тянулись к коммунизму, в нескольких поколениях жаждали его водворения и у себя, и в других странах?

Для восстановления национального самосознания необходимо, чтобы каждый народ сам разобрался в своих грехах, сам попытался понять, почему стал почвой для болезнетворных "трихин". Солженицынский призыв к всенародному покаянию до сих пор не услышан. И тут явления типа "Памяти" выставляют ложные ориентиры, уводящие с прямого пути покаяния и побуждающие искать "врагов" в тупиках и на обочинах.

Все сказанное не означает, что нужно закрывать глаза и не видеть реальности. Каждый народ должен знать и своих друзей, и своих врагов. Да, русофобия — ничуть не менее значимое и масштабное мировое явление, чем, например, антисемитизм. А в современном мире, на мой взгляд, даже гораздо более значимое. Но истерическое размахивание "Протоколами сионских мудрецов" вряд ли может принести какие-то положительные плоды. По поводу русофобии необходима не истерика, которую устраивает "Память", а беспристрастный анализ явления. Выкрики "Памяти" для многих заглушают единичные трезвые голоса

- А. Солженицына ("Наши плюралисты" и другие произведения), И. Шафаревича ("Русофобия"). Своих врагов надо знать, а не целенаправленно выискивать. Для утверждения христианского миропонимания (а это и есть основа русского национального сознания) необходимо стремиться к положительному, умиротворяющему разрешению проблем, а не к разжиганию вражды и злобы, не к воспитанию национальной безответственности.



Теперь вернусь к беседе, которую вели Попов и Аджубей на страницах "Знамени". Эта беседа предоставляет не только негативный материал. В отличие от всех публикаций подобного рода, она может вызвать и положительный интерес. Я уже писал, что, когда Попов обрисовывает взгляды "Памяти", он подменяет их иными. Но когда он пытается проанализировать почву, на которой выросло патриотическое объединение, тогда речь заходит уже о прямой проблематике "Памяти". Вопрос ставится так: "Почему в первую очередь с каким-то ожесточением, даже остервенением подвергалась утеснению именно русская историческая память?" Я вынужден привести большую цитату, чтобы продемонстрировать ответ Попова: "Сначала находил элементарные объяснения. Вот церковь была против революции, а многие памятники связаны с религией, так как не было многие века иных форм идеологии и мышления. Или другая причина: царизм много затратил сил, чтобы превратить память про-

шлого в память не о народе, а о царе... Примеров натягивания на народную память царских одежд можно привести много. Вместе с царскими одеждами, стало быть, часто выбрасывали и народную память.

Потом я стал искать и другие "резоны". Память русского народа была не только церковной, не только монархической, но прежде всего и главным образом крестьянской. А в той модели строительства социализма, которую заставило принять стечение всех объективных и субъективных обстоятельств, именно на крестьянство легли главные тяготы. Оно отдало стране свои накопления, пожертвовало миллионы работников. Реальные формы этого процесса неизбежно требовали разрушения прежних основ крестьянской жизни, всего, что напоминало о прошлом, об успехах, о достижениях прошлого. Если В. И. Ленин постоянно отстаивал идею союза с основной массой крестьянства и отошел от своей первоначальной концепции союза только с бедняками, то И. В. Сталин и его окружение пошли по другому пути. И принижение прошлой культуры, опиравшейся на крестьянскую массу русского народа, стало предрешенным делом"².

Здесь я могу возразить только против тона высказывания и против данных объяснений, но процессы, приведшие к разрушению русской исторической памяти, названы, на мой взгляд, совершенно верно. Источники и хранилища народной памяти, названные Поповым, точно соответствуют (даже сохранен порядок перечисления) оклеветанному в свое время тезису "Православие - самодержавие - народность".

Ответ же на вопрос "кто виноват?" Попов дает вполне в духе времени: в первых двух случаях (уничтожение церковной и монархической памяти) повинны "объективные обстоятельства", в третьем (крестьянство) – к обстоятельствам добавляется еще "субъективный" Сталин. Техника конструирования полуправды нынешней "гласности", как правило, состоит в том, что называются реальные факты, но им дается заведомо ложное объяснение³.

По Попову выходит, что народную память задели, когда разрушали Церковь и монархию. Но Церковь и монархия (а шире – все дворянство) были не временными складами народной памяти ("так как не было иных форм идеологии и мышления"). Они были активными творцами культуры русского народа, занимались созданием русской истории, а не "натягиванием царских одежд на народную память". Так как революция по самому замыслу была антимонархической (антидворянской) и атеистической, то тем самым она была прямо направлена и на разгром русской культуры. Иного итога быть не могло при любых обстоятельствах. По замыслу революция была и антикрестьянской. Пролетарская революция даже чисто декларативно совершалась в интересах 2,5% населения страны. Пролетариат не только составлял абсолютное меньшинство населения России, но и был тем сословием, которое просто не успело еще накопить свою собственную историческую память. По Ленину, определенные части крестьянства (в разное время – разные) могли быть в лучшем случае союзниками новой власти. Лозунг "Земля – крестьянам!" был прямым обманом (для привлечения союзников), т. к. и до и

после провозглашения большевиками этого эсеровского тезиса он резко расходился с большевистской программой обобществления земли. Сталин всего лишь перешел от выполнения тактической задачи к решению стратегической (может быть, слишком рано и поэтому вынужденно жестоко).

Культура церковная, дворянская, крестьянская являются тремя составными частями русской национальной культуры. Все остальные формы либо промежуточны, либо уводят в сторону и приводят к созданию антикультуры. Целенаправленно искореняя память церковную, дворянскую, крестьянскую, революция пришла к закономерному итогу: русская культура перестала существовать как цельное и живое явление. Погиб именно живой организм, хотя остались некоторые его порождения — книги и картины, храмы и дворцы (на их-то спасении и предлагает сосредоточиться "Память").

Лишившись своей исторической памяти и культуры, русский народ оказался перед выбором: перейти в небытие или встать на путь религиозно-национального спасения. Но поскольку этот путь спасения — единственный, то и опасности, подстерегающие здесь, — самые трагические, искусы — самые глубинные. Вместо развеявшегося миража интернационалистического соблазна, например, появляется новый, не менее страшный — националистический соблазн. Об этом всегда надо помнить.

Но всегда необходимо помнить и о другом. Отсутствие исторической памяти у нации — это род невменяемости. Сейчас в нашем обществе все заметнее становятся попытки восстановления утраченной памяти и культуры. Возвращение к

здоровому состоянию проходит медленно и болезненно. Процесс выздоравливания имеет свои закономерности. На первых этапах возвращение памяти и прояснение сознания перемежаются периодами провалов памяти и состояниями помутнения: отрывочные осмысленные фразы чередуются с бредом. Ужасное эмоциональное впечатление, которое производит состояние больного, часто мешает заметить элементы здорового сознания. Необходимо отделить одно от другого и назвать правду – правдой, а бред – бредом. Если нашей целью является очищение от болезни, а не ее усугубление или духовное убийство, то необходима осторожная духовная терапия. Для понимания состояния больного следует поставить диагноз, установить источник, проследить историю болезни. В лечении же нужно, прежде всего, отказаться от "радикальных средств", т. к. именно эти средства привели в свое время к потере памяти.

Перенося эту метафору на предмет данной статьи, я хочу сказать, что одним из решающих условий оздоровления процесса восстановления русского национального самосознания ("Память" – одно из ответвлений, пусть искаженных, этого процесса) является свободное гласное обсуждение всех аспектов и тенденций проблемы. Главное же условие – бескорыстная любовь и сыновнее уважение к "великому и милому нашему больному", к "нашей России" (Достоевский).

Москва, январь, 1988

Примечания

1. Подобную операцию производят и авторы всякого рода русофобских теорий. Игнорируя христианское начало в русской истории, они оставляют там лишь двух-трех царей-деспотов. Коммунизм объявляется закономерным порождением "русского деспотизма", с вечно исходящей от него мировой угрозой. Так творятся русофобские мифы.

2. Еще один тезис Попова – о роли русского народа в административной системе социализма – я не буду анализировать, т. к. он выходит за рамки тематики моей статьи.

3. Вообще же беседа Попова и Аджубея дает многочисленные и разнообразнейшие примеры и приемы создания полуправды, иногда переходящей в открытую неправду. Участвующие в беседе на словах отрицают "избранную память" и призывают к "нормальной правде о прошлом". К сожалению, сами Попов и Аджубей заменяют одну "избранную правду" другой, а норма оказывается уж слишком "нормированной". О глобальных искажениях я пишу в основном тексте статьи, здесь же коснусь некоторых частных. Так, говоря именно о необходимости полной правды, Попов приводит такой пример: "Пушкин, который призывал к отмене крепостного права, и Пушкин, который в письмах к жене жаловался, что крепостная деревня не дает нужной суммы, – это один и тот же человек, и от этого человека нельзя "отрезать" ни одно, ни другое. Ни оду "Вольность", ни эти письма". Экономисту, конечно, простительно перепутать пушкинскую "Деревню" с "Вольностью" (где о крепостном праве практически ничего не говорится). Непростительно другое. Данный пример – классический образец полуправды. На первый взгляд кажется: вот как правдиво он о Пушкине! На самом деле, ничего не значащая ссылка на письмо к жене скрывает правду истинную. Ранний Пушкин был противником крепостного права, а зрелый – убежденным, идейным (а вовсе не прагматическим) его сторонником: "Я допускаю в условиях деспотического государства существование рабов и людей свободных... Этот порядок приближается к патриархальному строю, избавляет правительство от бесконечного количества затруднений, потрясений, упрощает управление и придает ему большую мощь. Итак, остерегайтесь уничтожить рабство". Так писал Пушкин уже в 1826 году.

Еще один пример. Печально знаменитый тезис "Дореволюционная Россия была, конечно, тюрьмой народов" (со ссылкой на этот тезис, в частности, и уничтожалась русская культура) Попов пытается загримировать под правду признанием того, что Россия не была тюрьмой "господствующих классов этих народов". Не большую долю правды содержит и заявление о том, что церковная культура разрушалась, потому что "церковь была против революции". Мою историческую память по Попову можно назвать "ненормальной", но она говорит о том, что Церковь (и то одна ее часть) воспротивилась революции только после того, как начали громить и грабить храмы и убивать священнослужителей. Не Церковь была против революции, а революция была против Церкви.

Своеобразно обходится Попов и с ленинской теорией "двух культур": "Мы знаем, что в каждой национальной культуре было и есть две культуры". Доказательство того, что следует изучать обе, заканчивается парадоксальным выводом: "Надо научиться пониманию того, что культура едина". Так, все-таки, две культуры или одна? Видимо, и здесь предлагается найти "пропорцию".

Свою долю в копилку "избранной памяти" вносит и Аджубей. Правда, не сам, а приведя откровенно циничское высказывание Ю. Трифонова, касающееся "непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова". Так "нормальная правда" Трифонова-Аджубея требует признать "душегрейной" львиную долю великой русской культуры (не буду останавливаться на очевидных примерах) и даже идет на величание Шевцова "мыслителем", лишь бы скомпрометировать русское почвенничество.

Полуправда торжествует и в конце статьи, когда Попов разбирает национальный вопрос в целом. Всем известно, что сейчас страна сотрясается демонстрациями казахов и прибалтов, русских и татар, во многих республиках все громче звучат призывы к отделению. Что же советует Попов в этой области? Пересмотр некоторых принципов административно-территориальной системы и организацию национальных землячеств. Да, если ракового больного лечить горчичниками, то у стороннего наблюдателя на какое-то время может сложиться впечатление, что речь идет о простуде.

И последнее. Из беседы в "Знамени" куда-то исчез один из основных для "Памяти" вопрос о взаимоотно-

шениях русского и еврейского народов. Неудивительно, т. к. эта проблема вообще не подлежит нашей "гласности", на нее наложено некое "табу". Подобным молчанием лишь подогревается ажиотаж вокруг "Памяти", т. к. "еврейский вопрос" является реальным и насущным для многих. Мнение "Памяти" по этому поводу еще хоть как-то знают, работы же серьезных мыслителей, писателей, публицистов прошлого и настоящего скрыты от широкой публики.



Политический режим и характер собственности

"Установить одну причинную связь для меня предпочтительнее, чем овладеть персидской короной".

Демокрит

В перестроечной сутолоке уходящего года оживленно, как на восточном базаре. События одно важнее другого сменяют друг друга с невиданным ранее динамизмом, а информация буквально захлестывает всех с головой. В этой атмосфере едва ли кто, кроме специалистов, обратил внимание на один внешне неброский факт. Обсуждение в академических кругах макета нового учебника политэкономии для вузов. Широкому читателю такого рода проблемы остаются вообще неизвестны, проходят за кадром.

Между тем, и сам учебник, и дискуссия, утвердившаяся вокруг него, далеки от университетской рутины и заслуживают, по нашему мнению, самого пристального внимания.

Дело в том, что пособие мыслилось не цитатником, изготовленным по избитым клише, но научным прорывом в социологии. Оно само призвано было проложить новую тропу. Иначе говоря, перед авторами ставилась задача

марксистско-ленинскую схоластику увязать с реалиями сегодняшнего дня. Продолжать тешить себя иллюзиями и дурачить простаков поневоле становилось бессмысленным во всех отношениях занятием.

Официальная ревизия идеологического катехизиса стала неизбежной.

Каковы же предварительные итоги беспрецедентного за всю историю большевизма начинания?

Не вдаваясь в частности, отметим два принципиально значимых момента. Оба они имеют прямое отношение к теме очерка.

Первое. Товарно-денежные отношения, а следовательно и рынок, составляющие по Марксу исключительно специфичное явление буржуазного способа производства и исторически переходящие, обрели второе дыхание и превратились в категории универсальные. В результате необъяснимой для авторов и необъяснимой для читателей метаморфозы они неожиданно стали незаменимым инструментом цивилизации, веским ее достижением.

Второй вывод не менее впечатляющ и столь же смел. Монополистический капитал, объявленный Лениным его последней загнивающей стадией, кануном социальной революции, оказался на поверку самой жизнеспособной его формой, наиболее адекватным выражением. Капитализм сумел сделать научно-технический прогресс и в обозримом будущем остается практически недосыгаемым для преследователей.

Под напором суровой действительности зашатались и некоторые другие догмы незыблемых ранее основ.

Как отметил с досадой и недоумением один рецензент, в учебнике не нашлось даже места для понятия коммунизм. Ни одного упоминания!

Но что же из всего этого следует? Такого рода деформация, заметим, не была ни особым откровением, ни большой неожиданностью. Она зрела давно и выплеснулась наружу, когда представилось возможным.

Строго говоря, подобные умозаключения, если и имеют некоторое отношение к теории, то лишь в качестве посрамления ее. Политэкономы ничего не изобрели и не измыслили. Они примерно завизировали документ, давно приготовленный мировой социальной практикой.

Марксизм, говорится в нем, даже в свои лучшие годы был не более чем коммунизмом в пробирке. Что же до большевистской доктрины, то в современном свете она предстает жестокими и нелепыми игрищами во славу "научной" утопии.

Ленинский план – не вынужденный маневр с НЭПом, а тщательно подготовленный и неукоснительно проведенный в жизнь революционный сценарий, с треском провалившийся на практике, рухнул и в теории. Разверстать в России все, вплоть до последней пуговицы на подштаниках, не удалось успешно ни самому Ленину, ни его доблестной братии.

И сейчас, хочешь – не хочешь, многие лозунги приходится спешно сворачивать, другие – спускать на тормозах.

Давно уже превратился в обветшалое хламье шапкозакидательский призыв – догнать и перегнать, на очереди перевод в утиль несущей конструкции социализма – плана. Чтобы эта

неприятная процедура не казалась слишком вызывающей, некоторые экономисты предложили несложную идеологическую заставку.

План, говорят они, безусловно социализм, но социализм – не безусловно план! Дисгармония понятий проистекает не из их политической природы, но по чисто техническим причинам. Из-за крайней трудности верстки плана и всех его компонентов, особенно связанных с ценообразованием. Беда системы, по их версии, заключается не столько в наличии некомпетентной бюрократии, сколько в отсутствии компетентного компьютера.

А раз так – назад к рынку! При этом отдельные удалыцы не без ехидства спрашивают: "А нужен ли нам вообще план, да и сам социализм?"

Вопрос пока остается без ответа, но последний давно напрашивается сам собой. Ирреальна не только экономика, за пределами здравого смысла находится сам реальный социализм.

Как согласовать столь ощутимые бреши в фундаменте идеологии с положением, когда она продолжает оставаться господствующей? И к чему в конечном счете может привести? Совершенно ясно только одно: мировоззренческие сдвиги не вписываются в существующую систему и в определенных обстоятельствах они способны привести к изменениям более серьезным, чем те, к которым привели панскую курию знаменитые тезисы Лютера. И тут, заметим, дело идет уже не о ереси, но о контрперевороте. В этой связи манифесты сталинистов выглядят вполне закономерным ответом на опасный вызов.

Разумеется, свежие научные веяния не могут резко поменять идеологический климат, погода не меняется заметно. Однако признаки потепления можно встретить на каждом шагу и одним из самых приметных является реабилитация собственности.

И симптоматично, вместе с возрождением идеи собственности, происходит осознание неравенства. Оно стало притчей во языцех, о нем говорят во всеуслышание и повсеместно. Обсуждение не ограничивается традиционными подмостками политической дискуссии – подворотней и предбанником. Оно шагнуло в скверы, в кулуары официозных контор, на страницы периодики. Н. Амосов с обычной своей определенностью даже указал на абсолютный коэффициент неравенства – три. Остается, правда, не вполне ясным, какое соотношение он имеет в виду. К примеру, идет ли речь о дву-члене "Л. Толстой – ломовой извозчик", или о таком, как член Политбюро, секретарь ЦК – слесарь-сантехник? Позиция, как видим, столь же курьезная, как и знаменательная!

Одному из пионеров возрождения, эстонскому первопроходцу-фермеру средства массовой информации уделяют сегодня не меньше внимания, чем они уделяли его во время оно героям коллективизации и дутых производственных успехов. С начала нового года (1989. – Ред.) начнется денационализация государственных квартир, на очереди создание всероссийской ассоциации предпринимателей. Словом, маятник собственности вздрогнул и вот-вот начнет подъем. И тут, в поворотный момент, самый раз оглянуться и хотя бы редкими вехами, пре-

рывистой линией отметить ее извилистый путь в истории – европейской и русской.

Попытка, смеем надеяться, будет иметь не только отвлеченный, но, возможно, и некоторый позитивный интерес.

Институт частной собственности в классическом его понимании, т. е. как наиболее полное, основанное на законе право владения, пользования и распоряжения имуществом любого без ограничения ранга, впервые конституировался в греческом полисном мире, в частности, в Афинах. Это произошло примерно в середине последнего тысячелетия старого календаря.

Уже к IV веку до н. э. во время жизни Сократа и не без его участия была сформулирована договорная концепция власти. В ней впервые в истории нашли отражение идеи, порожденные общественной практикой, хозяйственным и социальным укладом Афин.

Основой политической системы, социальной базой, на которую она опиралась, был класс свободных граждан-собственников. Хотя в той или иной мере государство отражало интересы всего демоса, оно было по преимуществу инструментом собственников.

Политический режим Афин того времени отличался довольно широким спектром гражданских прав и свобод, сбалансированным сочетанием интересов личности и государства, верховенством закона.

Отношения частной собственности и соответствующая им структура власти утвердились в Афинах не случайно. Они явились результатом длительного общественного развития в благоприятных условиях внутренней и внешней среды

- своего рода экономических и геополитических предпосылок отношений собственности.

В известном смысле предпосылки эти - хозяйственная оседлость, развитые торгово-экономические связи, отсутствие глобальных государственных интересов и проектов, а также завоевательных тенденций - были в одно и то же время неотъемлемыми компонентами собственности. Без них она ни укрепиться, ни развиваться не может.

Наконец, высокий уровень эллинского общественного стандарта венчала древняя материальная и духовная культура народа.

Все это вместе взятое составляло одно взаимосвязанное и взаимообусловленное целое. Взлет и падение одновременно. Общество, раньше других исчерпавшее возможности, предоставляемые одинаковым для всех техническим и энергетическим уровнем, неминуемо погибнет - вследствие утраты внутренней динамики и под напором внешней агрессии. Греки обладали тем же инструментарием - мотыга, плуг, меч, и теми же источниками энергии - сила вола, ветра и воды, что и варвары. Но насколько они превосходили всех в хозяйственном отношении, настолько они уступали в военном.

В этом заключается трагедия всех прошлых цивилизаций. Западные демократии современности от нашествия и поругания большевистскими ордами спасли принципиально новые источники энергии и недостижимый для современных политических варваров уровень технических и технологических решений. Они же сообщили передовым цивилизациям дополнительный внутренний импульс. У греков и римлян ничего подобного появиться не могло.

Итак, с одной стороны, античный островок собственности, со всех других сторон — разливливое море восточных деспотий, ближних и дальних соседей Греции.

Исторически они формировались в прямо противоположных обстоятельствах, и их развитие шло в обратном направлении. Крайне централизованной, гипертрофированной государственной власти соответствовали несметные полчища вооруженных грабителей и гражданских чиновников, колоссальные и по большей части бесполезные общественные проекты, полное бесправие и нищета народа. Даже рабство, государственная его разновидность, превращалось в обузу для самих завоевателей.

Противоборство между двумя мирами было неизбежно, итог закономерен.

Варвары растоптали наследовавший греческому римский мир собственности. Они уничтожили его высокоорганизованную политическую и правовую системы, граждан превратили в подданных.

Гражданские налоги заменили феодальным кормлением. И в основе всех этих преобразований было одно. Принцип абсолютной собственности феодальные владыки усекли и низвели до бенефиция, и раб, ранее содержавший себя и хозяина, вместе с общинником, взвалил теперь на себя гигантскую пирамиду сеньоров, церковных и светских, которые лишь номинально и относительно считались таковыми. На деле каждый из них был настолько же сюзерен, насколько и вассал — в полном соответствии с тем парадоксальным положением, когда собственниками были все и никто — до конца. А практика много раз — до и после этого —

подтверждала незыблемое правило: там, где собственность теряет верховный суверенитет и покров святости, эти привилегии и символы сразу же находят новых владельцев.

В данном случае ими оказались феодальные рексы. "Государство — это я!" — издевательски бросил в лицо нации один из тиранов, и возразить ему было нечего и некому. Прошли столетия. Маятник собственности в другом месте взмахнул и почти сразу упал до нулевой отметки. И что же? Фарс повторился! Любой из "народных" диктаторов мог бы повторить вслед за самоуверенным сангвиником, нагонявшим страх на интеллигенцию: "Кто вы против воли народа? Пустое место! А кто проводит его волю в жизнь? Партия! А партия — это я!" Возражать ему опять было нечего и некому. Круг замкнулся. Два феодала, скрепляя идейный союз, протянули навстречу друг другу попирающую народы длань. Уничтожение собственности обернулось теперь уже полной социальной и политической деградацией общества, а насильственное равенство на абсолютном уровне повлекло неслыханные в истории беды.

Пророческими оказались слова Б. Бруцкуса, писавшего вскоре после Октября: "Социалисты обязаны открыто сказать массам, что строй частной собственности и частной инициативы нельзя разрушить, ибо на нем зиждется европейская цивилизация, ибо социалистический строй есть мираж, в погоне за которым можно прийти не в обетованную землю, а в долину смерти".

Именно так: долина одичания и смерти!

На другом полюсе, где принцип частной

собственности удалось отстоять и развить и где он стал доминирующим, там постепенно, шаг за шагом, цивилизация продвигалась вперед. И продвижение происходило во всех направлениях.

Европейские страны одна за другой покончили с остатками деспотических режимов и создали высокоэффективные экономические механизмы, а на их основе достойные подражания образцы гармонических общественно-политических систем.

Какую бы страну ни взять – Швецию или Великобританию, Норвегию или Голландию – везде наблюдается одна и та же закономерность. Пока государство строилось на феодальном принципе приоритета короны, личность была бесправна, а народ влачил жалкое существование.

Но стоило уступить пальму первенства собственнику и политическую зависимость преобразовать в контракт, перемены происходили незамедлительно и как по волшебству. И что представляется уже совершенно невероятным – такие государства одновременно с утратой военного могущества теряли и всех своих врагов, действительных и мнимых! Сейчас нечто подобное наблюдается с большевистским колоссом, решившим обновить облынявшую шерсть и спилить вызывающие страх клыки. Либерализация экономических отношений немедленно повлечет за собой соответствующие изменения в сфере идеологии.

Там, где буржуазия шла в рост, ее ценность становилась преобладающей, там политический климат теплел и даже суровый лик христианского Бога приобретал явные признаки

религиозного плюрализма. Ренессанс и реформаторство – дети собственников. Режим Кальвина показателен как отголосок фанатизма старого мира и совершенно инородное явление нового. Не удивительно, что он исчез так же внезапно, как и появился. Обществу свободной экономической инициативы чужд фанатизм в любой обертке, и политическая демократия – свобода стать президентом компании или бродягой – ее естественная среда обитания.

Историческому провидению угодно было создать в качестве учебной лаборатории полигон для ее величества, Новый Свет американских колоний. Два столетия он развивается в условиях наибольшего политического благоприятствования, и пока ничто не может столкнуть его с раз избранного пути: собственности, свободы и достоинства личности. У эксперимента было и есть немало негативов и теневых сторон, ему предстоит еще многое доработать и от многого отказаться, но в целом он выглядит убедительным и успешным.

Прежде чем оседлать НТП (*научно-технический прогресс. - Ред.*), общество конкуренции все-таки создало его.

Эти, а также более поздние примеры экономически-хозяйственных взлетов могут убедить кого угодно, но только не штатных апологетов равенства. У них в запасе всегда имеется непробиваемый довод. Как согласовать, говорят они, декларируемый демократизм общества свободной коммерческой инициативы с равенством? Ведь благополучие Штатов еще сто лет назад оплачивалось рабами. О какой свободе тут вообще можно говорить? Сюда добавляют еще что-нибудь из колониальной практи-

ки, а последних сомневающихся добивают подходящей цитатой из Маркса. Пристыженным адептам Гобсеков и Коробочек ничего не остается, как сдаться на милость победителей.

Присмотримся все же внимательнее к банальной позиции. Так ли уж она безнадежна? Отнюдь нет!

Простой расчет показывает: преимущества противной стороны мнимые, они строятся главным образом на эмоциях.

Рабство, как таковое, создала не собственность и не собственники, а война. Война началась сразу, едва четвероногое создание прыгнуло с дерева и взяло в руки палку, и даже раньше. Она древнее государства, классов, самого человеческого рода и ровесница всего сущего! Пленных поначалу убивали или съедали — до тех пор, пока товарный оборот не создал условий для их выкупа и продажи. В сообществах, застывших на доклассовом уровне, не знавших частной собственности, пленных убивали вплоть до XX века. Примерами подобного рода могут являться хваленые "цивилизации" американских индейцев, быт которых взахлеб живописуют восторженные "естественники".

Итак, собственники лишь воспользовались социальным инструментом, лежащим у них в ногах, приспособили его к своим хозяйственным нуждам. Так возникло домашнее, патриархальное рабство. Представлять ситуацию таким образом, что хозяева только тем и занимались, что притесняли и убивали своих слуг — верх нелепости. Это все равно, как если бы владельцы фабрик ни с того, ни с сего занялись луддизмом (от имени английского рабочего Лудды, который, по легенде, первым раз-

рушил свой станок в знак протеста против введения машин в промышленном производстве в конце 18 века. Отсюда название известного в истории "восстания луддистов" - разрушителей машин. - Ред).

Что касается плантаторов черного пояса, то и они всего лишь культивировали штамм, махровым цветом процветавший в африканской глубинке, в самой "естественной" среде. Он и теперь еще не изжит окончательно и продолжает благоденствовать в уродливой форме принципов Додо. Само собой разумеется, новые порядки возникли в освободившихся колониях, где собственность носит исключительно государственный характер и где на ней паразитируют ура-революционные клики самого разного пошиба.

Нравственные оценки уместны и оправданны, но не сужается ли искусственно область их применения? Кем были петровские государственные крепостные? Екатерининские барщинники? Аракчеевские военные поселенцы? Кем были колхозники ленинско-сталинских коммун? А разве личность в доклассовых первобытных общинах не была раздавлена авторитетами? В тех же индейских племенах до последнего времени господствовали самые дикие нравы, самые жестокие обычаи. И бесконечная, почти по Гоббсу, война. Объективных данных здесь больше чем достаточно. Вопреки стенаниям моралистов собственность вносит в общественную организацию элемент устойчивости и на уровне социального неравенства — гармонию. Биологическое неравенство, материализованное в вещах, выносятся за общественные скобки. Внутри них действует принцип политического равенства —

закон. Внутри тиранических режимов действует не закон, а политическая необходимость. Тем не менее, путь собственности в истории не сопровождался триумфом и не усыпан лепестками роз.

Напротив, диалектика его развития сложна и противоречива. У собственности немало внутренних препятствий и еще больше внешних врагов. Она не просто камень в фундаменте демократических цивилизаций, но пробный камень. Отношения абсолютной собственности включают в себе одновременно порядок и прогресс – по Конту и классовые сражения – по Марксу. И если для западных технологий последние представляют в значительной мере пройденный этап, то развивающиеся страны едва начали вступать на него. И вряд ли народы, прослушав курс Белла или Хайдеггера, откажутся от своих социальных притязаний в расчете на будущую трансформацию классов и диффузию собственности.

Школа свободного рынка сурова и поучительна, и проходить ее надо основательно и всем без исключения.

Греческие дохристиане одними из первых в истории нравственно отреагировали на изнанку общества потребления, и с тех пор критикам его нет конца. Характерно, однако, даже ярые приверженцы сияющих проектов будущего, за редкими исключениями, отдавали ему должное. Они считали собственность и проистекающее из нее неравенство – в действительности все происходит наоборот – проклятием человеческого рода и в одно и то же время не могли не видеть и не признать ее цивилизующую роль. Один из самых наглядных примеров являл собою

Руссо – предтеча революции, вдохновенный глашатай первобытного равенства, обличитель меркантилизма.

Каким бы он ни казался романтиком, выводы из своего вероучения – факультативом его позднее стало толстовство – он сделал вполне прагматические. Раз человечеству суждено до скончания века барахтаться в грязи собственности, надо по крайней мере убрать с этой дороги все препятствия. Клин вышибают клином!

Так вторично, на этот раз с революционной подкладкой, родилась идея общественного договора.

Но еще до великой революции античные цивилизации стали возрождаться в обновленных моделях буржуазных республик. Возрождаться на ином техническом и социальном уровне. Ветряк сменила паровая машина, раба – свободный работник. Феодальные режимы один за другим сходили с исторической сцены. И по мере того, как приспускались рыцарские флаги, философы самых разных направлений становились во фронт и дружно отдавали им честь! Действительное – разумно. Доводы известны теперь любому школьнику. Феодализм олицетворял экономический прогресс, сюда подключались силы базисного соответствия, закона отрицания и т. д. Внешне подобные умозрительные конструкции смотрятся прекрасно, при ближайшем рассмотрении все это весьма живо напоминает детерминированный вариант сказки про белого бычка.

Античные авторы в один голос утверждают: греки не страдали от недоедания, а римские крытые рынки ломились от изобилия товаров

со всего света. И продукты туда доставлялись не по продразверстке и не под конвоем!

Что же получилось, когда на собственника надели феодальное ярмо, а большевики окончательно с ним разделались? По дорогам Европы стали бродить толпы озверевших нищих, а крестьяне России стали вымирать целыми губерниями и регионами.

"Природа — дура", — говорил известный генетик, и он знал, что говорил. А история? Разве жизнь индивидуума и целых народов выпадает из всеобщего универсального принципа бытия?

Не выпадает, — говорят творцы стройных теорий и тут же спокойно отождествляют фактор силы, выживаемости с фактором прогресса. Противоречия и несообразности остаются. С марксистской теорией соответствия, например, происходит почти то же, что и с его теорией стоимости. Они верны в принципе, но не выдерживают устойчивого соприкосновения с реальностью. Товары производятся, по Марксу, и то не всегда, а реализуются по Смиту. Во всех случаях. Способ производства — несомненно, определяющий момент, однако в тоталитарных государствах он вторичен, соответствие перевернуто. И в обоих случаях, когда естественное равновесие нарушено, общество терпит немалый урон. В чем состоял смысл большевистского эксперимента? С точки зрения потаенной идеи, исторического разума, материального прогресса? Не в том ли, чтобы после мытарств синайского блуждания вернуться к исходному пункту? Египетским сумеркам.

А ведь и сейчас еще находятся теоретики, толкующие об Октябре как о чистом источнике,

замутненном культом личности, о неиспользованных ресурсах реального социализма и тому подобном вздоре.

Те же, кто не видит во всем этом смысла, склонны приписать издержки эксперимента некоему мировому революционному поветрию, неподконтрольному и опустошительному.

Технократические модели истории возникли не случайно и не от хорошей жизни. Они отвечали на ранее безответные вопросы, устраняли противоречия и несообразности. Для этого в основу периодизации они положили другой критерий – индустриальный фактор. Однако сами по себе средства производства не много значат вне человеческого фактора, одушевляющих их отношений собственности. С этой точки зрения, и феодализм, и так называемый реальный социализм – лишь разные ступени одной и той же лестницы, ведущей вниз – регресса.

Прекрасной иллюстрацией того, каким образом характер собственности влияет на политический режим и наоборот, может служить хотя бы первая французская революция. В считанные годы, словно в калейдоскопе, феодальный абсолютизм через Жиронду и левый центр превратился в политическую диктатуру Горы. И революционный террор развивался синхронно показаниям стрелки на шкале собственности.

Идеологи левых якобинцев не были ни "равные", ни даже "бешеные", по нынешним меркам они были радикальными социалистами, не более. Но в то время руссоистская идея требовала жертв, и они без колебаний шли на такие жертвы. Вот как один из них излагал сущность знаменитого закона от 10 июня 1794 года:

Т "Когда угрожают народу (народу, с точки зрения революционеров, добавим мы, могут угрожать только собственники), всякие юридические формальности являются излишними. Дело идет не столько о наказании, сколько об истреблении. К врагам народа должно применяться лишь одно наказание – смертная казнь, и единственным мерилom для приговора должна быть совесть судей, руководствующихся любовью к Родине".

Подчеркнем еще раз, речь шла не об упразднении частной собственности, ее только втискивали под колпак робеспьеровской идеи. Нужно ли удивляться после этого тому, что произошло, когда собственность, товарные отношения, рынок, деньги были поставлены Лениным вне закона? Одновременно вне закона оказались независимость, свобода и достоинство личности, сама жизнь.

Якобинский террор по масштабам нашего века кажется бурей в стакане воды. Представлением курам на смех. Впрочем, и правый экстремизм за это же время сделал немалые успехи. Какой ужас внушал современникам хотя бы павловский политический сыск! Литератор Греч писал тогда: "Все жили точно с таким чувством, как во время холеры. Прожит день, и слава Богу!"

А вот как выглядит павловская пятилетка, окончившаяся, как и первая сталинская, – досрочно, в зеркале статистики. Арестованных, в том числе, административно задержанных временно – 862 диссидента. К смертной казни приговорено двое – братья Грузиновы. Все!

Правый террор вообще следует рассматривать как экстремальную ситуацию. Ответ обще-

ства собственников на наличную и готовящуюся угрозу. Вопреки известному правилу "после этого" тут почти всегда означает "по причине этого". Одной из первых реакций такого рода на большевистскую угрозу был небезызвестный корниловский мятеж революционного лета.

Раболепствующие историки и поныне извращают действительные события, представляя большевиков спасителями отечества. Сам октябрьский переворот они изображают едва ли не как превентивную меру. Удивляться тут нечему, вся большевистская история от начала и до конца построена на лжи. Ее писали и продолжают по сей день писать субъекты, готовые продать не только историческую правду — мать родную, чтобы удержаться на верхней палубе околополитического истеблишмента.

Чего стоят хотя бы неуклюжие попытки свалить историческую вину за массовый террор на оппозицию — социал-демократов, эсеров, кого угодно. Вот как, по Шатрову, выглядят эти изыски в драматических устах одного из лидеров социал-революционеров Спиридоновой:

"Мы, т. е. оппозиция, — говорит она, — виноваты, что создали большевикам развращающие условия единовластия" — не сидели сложа ручки на коленях и спровоцировали большевиков на политический террор.

Поменяв местоимение, получили русский вариант французской классики: ищите женщину!

Жандармы, ненавязчиво констатирует драматург, развратили партайгеноссин Спиридонову. Она — большевиков. Так-то! В этой весьма логичной концепции выпирает одна деталь — Сталин. Не вполне ясно, пал ли он жертвой цепи

жандармы – Спиридонова, либо назван жертвой другой любовной интриги. Эту связь установил и обнародовал на страницах "Нового мира" Шакуров, обвинив уже не Спиридонову, а весь наш народ в противоестественной любви к отцу нации.

Но возвратимся из храма любви в хозяйственный амбар.

Борьба между миром собственности и отрицающим ее голым политическим насилием – проявление этой борьбы. Но и любое другое общественное движение неминуемо становится перед вопросом: где должна быть остановка? В зоне собственности или вне ее? Политический водораздел во всех "горячих" точках планеты, неизменно проходящий вдоль линии собственности.

Чилийский коалиционный президент въехал во дворец на детской бутылке молока. Его латиноамериканские и африканские единомышленники вселились туда силой.

Сбылась ли их мечта? Нет, стало еще чище! Хуже по всем показателям. Так же плохо обстоит дело везде, где естественный порядок вещей нарушен. Что из этого следует?

Все попытки отыскания социальной справедливости за воротами собственности не увенчались успехом. Поиск ее приемлемой альтернативы надо продолжить не в ленинском требнике, а в русле бердяевского философского тезиса. В 1911 г. Н. Бердяев писал в своей "Философии свободы": "Самые радикальные социальные перевороты не затрагивают корней человеческого бытия, не уничтожают зла". Несколько подробнее смысл его идеи можно истолковать следующим образом.

Люди неодинаковы в физическом, нравственном, интеллектуальном отношении, и эта неодинаковость подогревает извечную между ними борьбу и соперничество. Насилие на личном, групповом, социальном, политическом, на любом другом уровне неизбежно.

Строй независимой экономики, по крайней мере, способен, если и не устранить полностью, то свести к минимуму один из самых опасных видов насилия — насилие политическое.

Что произошло в России после экспроприации промышленности и национализации крупных земельных угодий, хорошо известно. В хозяйственном отношении такой шаг обернулся полным развалом дела. Промышленность была парализована, сельхозкоммуны, образованные на конфискованных землях, по признанию самого Ленина, сразу же превратились в богадельни.

Политический переворот в отношении собственности почти автоматически повлек террор на государственном уровне. Не в местных переклестах и не в разгуле черни заключалась трагичность ситуации. Стихия была спланирована заранее из центра. Чуть ниже мы коснемся "технологии" этого вопроса, сейчас обратим внимание на идеологические и культурные последствия экспроприации.

В 1922 г. Ленин, не святочный драматургический персонаж, а циничный политик, рекомендовал шефу охраны составлять досье на всех неблагонадежных публицистов, писателей, интеллигентов и немедленно рассматривать вопрос об их высылке за границу. По его же указанию вся провинциальная печать подлежала строгой политической цензуре, а сомнительные издания должны были предварительно отправ-

ляться в Москву на предмет идеологической экспертизы по первой инстанции.

Когда зашла речь о целесообразности предоставления независимым публицистам хотя бы одного издания, вождь категорически воспротивился. "Мы самоубийством кончать не желаем и на это не пойдем", — заявил он.

Особой "чести" удостоились оппозиционно настроенные экономисты, вступившие в открытую научную полемику с экономической политикой большевиков. Спорить с ними по существу Ленин и не пытался. В обычном своем стиле он навешивал ярлыки и шельмовал. Так, люди, которые могли сослужить немалую службу родине, были объявлены военными шпионами и высланы из страны. Нет, ниточка террора начала тянуться не со Сталина, а гораздо раньше. С ленинского декрета от 10 ноября 1917 года. Именно тогда была объявлена охота на мужика, большевистское полюдьё.

Началась она с того, что кормильца России Ленин приказал ставить к стенке за мешок утаиваемого от грабежа зерна, а кончилась пресловутым сталинским законом 30-го года о защите социалистической собственности. В соответствии с ним колхозника расстреливали уже за картуз собранных на стерне колосков.

Гонение на научную интеллигенцию и независимых публицистов усилилось не в военное лихолетье, а в разгар НЭПа, в 23-м году. И любопытно: нездоровье вождя не помешало ему в весьма плодотворной унтерпришибеевской деятельности! И оно же еще годом раньше сделало его совершенно недееспособным и беспомощным в деле, которое, по мнению некоторых

горе-политиков, имело фатальные для страны последствия.

Как тут не вспомнить исторический насморг Бонапарта!

Ирония судьбы заключается еще и в том, что партия, водившая замордованный народ по лабиринту сабельного похода против собственности, сегодня с обычной самоуверенностью и апломбом возглавляет вялое шествие в обратном направлении к правовому государству.

Термидор 94-го года отправил законодателей от фонаря на фонари и тем самым покончил с гибельными для Франции экспериментами. В России революционное кино прокрутили до конца, а сейчас, соорудив монумент жертвам, кое-кто мечтает запустить в производство вторую серию. Под названием "Ленинский, или истинный социализм". Когда мы поймем, что подобное словосочетание противоестественно, что истинным социализм может быть (если может. — Ред.) только в социал-демократической его разновидности, тогда мы создадим настоящий памятник. Аллею свободы на месте капища идола. Правовым государством может быть лишь государство собственников — это аксиома. Но с какой стороны к нему подойти, если собственность вырвана с корнем не только из жизни — из самого сознания? В чем заключается шанс и есть ли он вообще?

Наибольшие надежды в условиях СССР могут быть связаны с важнейшим в ряду других факторов — децентрализацией. Пресс насилия ослаб, а неимоверно сжатая пружина заключает в себе огромную центробежную энергию.

Присмотримся внимательнее к нашей внутренней истории с точки зрения эволюции собственности. На воображаемом графике вырисовывается причудливая синусоида с пологими подъемами и внезапными срывами. И так раз за разом, целое тысячелетие. Как будто волна натывается на невидимую преграду и беспомощно откатывается. Неодолимыми препятствиями для естественного развития отношений свободной экономической инициативы был и остается чрезмерный государственный централизм.

Вся история России, — писал В. Ключевский, — есть история колонизации ее окраин. А это не что иное, как война.

В периоды относительного затишья собственность приходила кое-как в себя и начинала прорастать. Затем очередной великий перелом отбрасывал ее вспять и можно было приступать к новому циклу сизифова труда. К изначально негативным сторонам восточно-славянского общественного быта можно отнести огромные пространства и характер местности, препятствующие интенсивному хозяйствованию и развитой торговле и способствующие общинной обособленности, замкнутости. Даже раннее выделение семейного двора не вызывало решительных последствий.

Тем не менее, если верить В. Ключевскому, в первоначальный период становления русского государства, товарное обращение и международная торговля достигли высокого развития. Установление денежного штрафа за уголовные правонарушения косвенным образом указывают

на наличие оживленной торговли и денежного обращения.

Иноземное завоевание положило конец этому благодетельному процессу, последующая перецентрировка резко поменяла государственные приоритеты. Благополучие Киевской Руси основывалось на торговле, Московская Русь стала служить иным полюсом приложения. Всеславянским идеологическим и политическим супер-центром. Государства первого типа воюют обычно ради торговли, вторые, если и торгуют, то только затем, чтобы в удобный момент прибрать чужую территорию к рукам. Соображения экономической выгоды принимаются в расчет в последнюю очередь или не принимаются вовсе.

Развитие экономически целесообразных методов хозяйствования, начавшееся еще в татарское время, было порушено завоевательской политикой московских князей. А она влекла за собой соответствующие изменения в социальной политике. Пик ее – опричнина, разбояривание, раскрестьянивание. Новый взлет самодержавных амбиций – XVIII век. И соответственно именно тогда произошло окончательное погружение поселянина и рабочего люда в пучину помещичьего и государственного рабства.

К концу века завоевательский зуд был в основном удовлетворен, "окончательное" решение южного вопроса пришлось отложить до лучших времен.

Это позволило Павлу несколько ослабить фискальный нажим. Барщину урезали до 3-х дней, с крепостных списали неуплаченные подати, а текущие несколько уменьшили за счет

помещиков. После небольшой передышки новые войны и новые тяготы для народа.

Пореформенная история – наш вчерашний день – известна хорошо и в деталях.

Крестьянская и политические реформы 60-х годов стимулировали развитие промышленности, что же касается аграрной собственности, то она и дальше продолжала барахтаться в общинно-феодалных путах. Политический режим резко поменялся в деревне к худшему. "Освобожденный" от помещичьей юрисдикции мужик стал опасен и к нему, помимо общинного старосты и уездной сельской полиции, приставили идеологического надзирателя – урядника.

Новые чиновники – новые поборы. Они возросли еще и от того, что царизм, желая порадовать за бедного помещика – свою политическую опору в деревне, – фактически содействовал его разорению. Помещик в новых условиях был беспомощен и экономически несостоятелен. Налоги, которые он не мог заплатить казне, феодальная бюрократия с легкостью перекладывала на широкую спину сельской громады. В этих условиях выбиться из нужды "в люди" могли только исключительно пробивные и удачливые дельцы. Кулаки.

В неменьшей степени, чем помещичье землепользование, развитие принципа частной собственности в деревне задерживала архаичная и консервативная община. В сущности, большевики расходились с аграрной революционной партией лишь в деталях. И сельская община была почти готовой моделью для ленинского "крупного коммунистического хозяйства", т. е. колхоза. Уничтожение частной собственности дало ему

”право” сформулировать основополагающий тезис. ”В сфере гражданских правоотношений у нас нет и не должно быть ничего частно-правового, а только публично-правовое”.

Личный интерес в контексте ленинской теории подлежал изгнанию. Окончательно и безоговорочно. Потерпев фиаско, стали его понемногу внедрять. Жизнь поставила сейчас в повестку дня вопрос об изгнании из нее самого ленинизма.

Остается не совсем ясным одно немаловажное обстоятельство. Каким образом большевикам удалось заохотить мужика снять одно ярмо и тут же надеть другое?

Для поднаторевшего в теории Ленина подобное затруднение было делом несложной техники.

Мы сначала, поучал он свою гвардию, поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфискации земли, — крестьянина против помещика, потом мы поддерживаем бедноту против кулака, а потом мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще.

Старая добрая политика ”разделяй и властвуй” сослужила Ленину прекрасную службу.

Вот кто выпустил на сцену истории готового на всё люмпена и жаждущего общности имуществ деревенского громилу! А когда государство набрало необходимую силу, в общую молотилку пошел и сам гегемон революции вместе со своей идеологической гвардией. Логика насилия, несмотря на кажущуюся иррациональность, не лишена внутренне предопределенности.

Иезуитская политика большевизма, а она была проявлением не порочности отдельных лич-

ностей, но всей доктрины в целом, вызывала возражения даже в первой шеренге.

Конечно, для людей типа Троцкого и Сталина никаких моральных проблем никогда не существовало. Но кое-кто пробовал возражать. Возражали и против принципа единовластия, и против чрезмерной партийной консолидации, и против социального и экономического волюнтаризма. Они не хотели принять на вооружение хищника льва. Их нравственное чувство приходило в столкновение с практикой, которая органически вытекала из самой системы и которую они совершенно неосновательно считали случайной.

Внутри системы, аморальной по своей природе, мораль в собственном значении слова вообще невозможна и никакие общечеловеческие критерии там не применимы. Это другая Вселенная.

Но мы несколько отвлеклись. Какова была программа двух революционных партий – аграрной и промышленной – по вопросу будущей государственности? Чем они отличались? Их установки в этой части диаметрально противоположны. Идеологи крестьянской общины видели будущее демократической России в полной децентрализации империи, в предоставлении ее народам независимости и государственного суверенитета. Характерна в этой связи позиция революционера и публициста Кравчинского.

”Российская империя, – писал он, – искусственное, лоскутное образование, все части которого, за исключением Урала, присоединены к центру насильственно. Между окраинами и метрополией нет ничего общего, их связывает только одно – нити бюрократического управле-

ния. И первейшая задача демократической революции – разорвать эти нити”.

Демократическая революция была удушена, и все попытки народов России добиться государственной независимости были пресечены из центра огнем и мечом.

Исключение сделали для Финляндии и Прибалтики, с целью придания режиму демократического ”лица” и отчасти потому, что они не имели жизненно важного для революции значения. Финляндия теперь стала поучительным образчиком того, как могло бы пойти дело без большевиков, т. е. своеобразным доказательством от противного, а народы Прибалтики превратились в застрельщиков децентрализации. Они помнят свою свободу, и она неразрывно связана для них с частной собственностью. Перестройка позволила им легализовать свои политические идеи, а народные фронты поставили их в повестку дня.

Прибалтика – форпост перемен. Она детонирует, сообщает направление движения, дает психологический заряд. Не менее острая, хотя и не столь масштабная ситуация сложилась в Крыму. И здесь за мечтой народа о восстановлении своего национального достоинства лежит неискоренимое стремление к исконной ценности – собственному клочку земли. Почти то же можно разглядеть на Кавказе, надо копнуть лишь немного глубже поверхностного слоя под названием ”Карабах”.

Эстония – ”прихожая” Финляндии, там известно всё и всем. Армения находится на задворках западной цивилизации, но ее дети разбросаны по всему миру, и она обладает не-

малой и достоверной информацией из первых рук. Отсюда брожение и недовольство.

Народу опостытели (пропуск в рукописи. – Ред.) бюрократии местной и центральной, он хочет иметь реальное право выбора. На очереди будут вставать новые проблемы и другие регионы. Поводы для недовольства будут у них разные, существо – одно: стремление разорвать обременительные имперские путы. Ослабление жестких связей неизбежно, а оно, вероятно, и будет началом поворота народов к извечным ценностям.

Еще два десятилетия назад проект денационализации государственного жилищного фонда мог бы показаться бредом сумасшедшего. Сейчас он стал реальностью. Нет никакого сомнения: рано или поздно вопрос о денационализации земельной собственности встанет на повестку дня. Земля изнывает под тяжестью равнодушия и бюрократического насилия, она ждет своего избавителя, рачительного хозяина – собственника.

Политика экспроприации обанкротилась и сдается в спецхран. С пыльной полки опять придется снять древнюю, как мир, и вечно юную философию собственности.

г. Алушта

Декабрь 1988 г.



Н. В. САВИЧ

Константинопольский период*

Предисловие публикатора

Начало русской эмиграции стало страницей истории. Не осталось почти никого, кто ушел из Крыма с оружием в руках, унося с собой веру в возвращение в Россию под трехцветным флагом.

Но если о пребывании армии генерала Врангеля в Галлиполи и на острове Лемнос в 1920-1921 гг. было опубликовано немало воспоминаний¹, то о деятельности сохранившейся в Константинополе гражданской части Правительства Юга России неизвестно почти ничего. Поэтому, как нам кажется, публикуемая ниже последняя часть воспоминаний Н. В. Савича существенно дополняет общую картину жизни константинопольского периода истории русской эмиграции². Ибо из всего состава Правительства Юга России в Крыму Н. В. Савич был единственным его членом, оставшимся в Константинополе при штабе ген. Врангеля, чтобы по его просьбе бороться за оставшиеся финансовые ресурсы, столь необ-

* Воспоминания Н. В. Савича печатаются по оригиналу рукописи, правленному рукой автора. Публикация (с небольшими сокращениями) и примечания Н. Рутыча.

ходимые для сидевшей на голодном пайке армии. Свидетельства Савича носят уникальный характер, значение которых трудно переоценить.

Будучи исключительно честным человеком, что признавали и его политические противники, Савич не скрывает своих расхождений по ряду вопросов с ген. Врангелем. В частности, по вопросу о своевременности попытки опоры на Русский совет³ - избираемое представительство общественных и парламентских деятелей при ген. Врангеле.

В свете этого нельзя не вспомнить слова самого ген. Врангеля из письма⁴ от 15 июля 1927 года, написанного незадолго до смерти, где он просил Н. В. Савича прислать свои мемуары для опубликования в Архиве Белой Борьбы: "Ваши воспоминания были бы особенно ценны как одного из лиц, наиболее осведомленных, и как свидетеля с исключительным даром беспристрастного объективного анализа".

Напоминаем, что Никанор Васильевич Савич⁵, депутат Государственной Думы III и IV созывов, был одним из русских общественных и государственных деятелей, считавших своим долгом служить делу восстановления правовой государственности на родине после октябрьского переворота.

Покинув нелегально Петроград в начале 1918 года, где он чудом избежал ареста, Н. В. Савич участвует в Ясском совещании русских политических и общественных деятелей с представителями союзников сразу после поражения Германии в ноябре 1918 года. По приглашению ген. Деникина он вошел в состав Особого Совещания-правительства при Главнокомандующем вооруженными силами Юга России. Генерал Врангель лично вызвал его в Крым для занятия поста Генерального контролера в своем правительстве.

Прибыв вместе с армией ген. Врангеля в Константинополь в ноябре 1920 года, Н. В. Савич прекрасно отда-

вал себе отчет о том положении, в какое попала армия и её главнокомандующий. Константинополь и проливы были оккупированы союзными войсками после капитуляции Османской империи в 1918 году. Все административные функции принадлежали английскому и французскому Верховным комиссарам, не признававшим больше ни Правительство Юга России, ни самого Врангеля в качестве главнокомандующего эвакуированной из Крыма армии. Положение как ген. Врангеля, так и тем более его представителя по гражданским и финансовым вопросам, было исключительно трудным.

Вопреки заявлениям советского правительства об "усилении интервенционистской волны во французской политике"⁶ и заявлению самого Ленина на IX Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года об "опасности новых попыток нашествия"⁷, союзные державы отнюдь не собирались сохранить или использовать Белую армию. Наоборот, они употребили все усилия, вплоть до давления голодом для того, чтобы её "распылить".

Как сам генерал Врангель, так и тем более Н. В. Савич, оказавшись в условиях эмиграции, могли, конечно, отказаться от тяжелого бремени ответственности за армию и огромную массу беженцев под Константинополем, передав свои функции французскому и английскому командованию. Но они не сочли возможным отказаться от того, что считали своим патриотическим долгом. И выполняя его в невероятно сложных условиях с большим достоинством, они показали яркий пример служения России еще в самом начале эмиграции.

Н. Рутыч

Примечания

1. О пребывании русской армии ген. Врангеля в Галлиполи и на острове Лемнос (казацкие части) сохранились многочисленные воспоминания, из которых можно указать на следующие:

сборник, посвященный ген. А. П. Кутепову, изданный в Париже в связи с его похищением в 1930 году ("Генерал Кутепов". Париж 1934); издания Общества галлиполийцев, в том числе "Переключка", выходившие в США. А также большой труд "Русские в Галлиполи", составленный участниками "галлиполийского сидения" и изданный в Берлине в 1923 году.

2. Единственной достоверной, хотя и бегло составленной работой на эту тему, является книга В. Х. Даватца и Н. Н. Львова "Русская армия на чужбине" (Белград 1923). П. Н. Милюков в своей брошюре "Эмиграция на перепутьи" (Париж 1926) почти не касается константинопольского периода. Часто цитируемая книга Григория Раковского "Конец белых" (Прага 1921) не заслуживает доверия, ибо автор составил её тенденциозно, ссылаясь на свои интервью с ген. Врангелем, которых не было.

3. 12 марта 1921 года ген. Врангель опубликовал Положение о Русском совете, призывая разделить с ним ответственность "за воссоздание России на новых началах". Согласно этому Положению две трети совета из 30 человек избирались от Парламентского комитета и других общественных организаций, таких, как Городской и Земский союзы, а одна треть назначалась главнокомандующим. Среди последних были начальник штаба ген. Шатилов и командиры корпусов.

4 апреля 1921 года в здании Российского посольства в Константинополе состоялось открытие Русского совета. Среди избранных членов были б. депутат Государственной Думы, с.-д. Г. А. Алексинский, порвавший в свое время с Лениным, к.-д. кн. П. Д. Долгоруков, Н. Н. Львов, В. В. Шульгин и другие. С переездом ген. Врангеля в Югославию Русский совет был распущен.

Более подробно об этом см. книгу В. Х. Даватца и Н. Н. Львова "Русская армия на чужбине" (Белград 1923), а также - БСМ, изд. 1, т. 64, сс. 160-161.

4. См. "Грани" № 127, с. 169.

5. См. наш очерк о Н. В. Савиче в "Гранях" № 127.

6. Документы внешней политики СССР, т. 4, с. 693.

7. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5 т. 44, с. 302.



31-го октября 1920 г. поздно вечером "Алмаз" медленно выходил в море. Тихо скользила темная громада корабля по спокойной воде рейда, направляясь к далеким берегам Босфора, куда неудержимо стремились разбитые защитники русской национальной государственности. Мы идем медленно, как бы нехотя, точно кораблю тяжело и нестерпимо грустно расстаться с родными берегами.

Огни на яхте все погашены, команда и пассажиры сумрачно молчат. Вот наконец обогнули стоявшего мористее* других "Алексеева", начинаем увеличивать ход, склоняясь к юго-востоку. Еще видны удаляющиеся берега Крыма, с которым было связано столько надежд, который был последней точкой свободной родной земли, последней связью с Россией. И вот эта нить оборвалась, родная земля исчезает в сгущающихся сумерках. Тяжело и мрачно на душе у всех уходящих в изгнание без надежды на этот раз вернуться домой. Мы идем как бы крадучись, стараясь быть незаметными, уйти в темную мглу и скрыться от взора невидимого врага. Среди публики уверяют, что это делается из опасения обратить на себя внимание подводных лодок врага, которые будто бы вышли из Николаева, чтобы мешать нашей эвакуации.

* Мористый - удаленный от берега, стоящий в открытом море. - Толк. слов. Ожегова.

Вряд ли тут есть доля правды, до сих пор никто никогда не видал большевистских подлодок даже в момент, когда шла борьба, когда их вмешательство могло иметь влияние на исход междоусобной войны. Это явно доказывало, что офицерский состав красного флота не горит желанием вредить нам, что его симпатии не на стороне красного лагеря. Тем менее можно было опасаться теперь их нападения на уже поверженного противника, ушедшего в изгнание и следовательно ставшего безопасным. Когда последние силуэты балаклавских гор исчезли во мгле, я спустился в каюту. Бесконечно тяжело было на душе, беспросветно будущее.

Тягостную участь приготовила нам судьба. Позади позор поражений японской войны, грозные раскаты первой революции. Затем разгром на выборах в первую Думу, который нами ощущался как поражение всего, что нам было близко и дорого. Наконец, после переворота 3-го июня луч надежды уйти от того ужаса, который неудержимо надвигался и ясно предчувствовался. Борьба за величие России и за свое собственное влияние на ее судьбы — таковы были усилия 7 лет работы представителей в Думе. Наступила война и начались новые поражения и потрясения, новые осложнения внутри государства. В конце концов, вторая революция, казавшаяся многим успехом и победой русского общества над старой властью, но которая ощущалась мною как поражение всех наших надежд, всего, что нам было дорого. Позор Брест-Литовского мира, сознание глубокого национального унижения, господство ненавистных врагов России, поставленных к власти усилием внешнего врага. Безнадежная борьба

Белого движения, которому мы всецело сочувствовали, и опять поражения и поражения, сперва под водительством Деникина, теперь Врангеля. Последний луч надежды погас, впереди черная ночь изгнания, полного национального унижения и личных лишений.

Среди ночи мне казалось, что корабль наш застопорил машину и неподвижно стоит на месте. Утром, выйдя на палубу, я узнал, что, отойдя миль шестьдесят от Севастополя, мы остановились вследствие того, что испортился холодильник, а пары в котлах пали так, что идти далее стало невозможно. Перед уходом из Севастополя "Алмаз" с него сошла на берег большая часть машинной команды, пришлось ее заменить неопытной молодежью из гардемаринских классов и сухопутных офицеров. Когда эти добровольцы сменили уставшую часть старой машинной команды, то начались аварии в котлах и машине, в результате чего мы потеряли возможность двигаться.

Теперь спешно чинили аварии, команда была сумрачна и не хотела отвечать на вопросы. Между тем течение и легкий ветерок несли нас по направлению к Одессе. Только после многих часов работы удалось исправить повреждения и корабль начал опять двигаться. Сперва мы шли крайне медленно, узла три-четыре в среднем. Команда повеселал. К вечеру опять остановились, испортился опреснитель. Пришлось чиниться, но теперь публика не волновалась, уже отошли далеко от берега, и опасность быть выкинутым на большевистское побережье отпала. К тому же, продовольственный вопрос разрешился благополучно. Моряки устроили снабжение пассажиров горячей пищей, варилась какая-

то похлебка, раздаваемая беженцам. Конечно, этого не было вполне достаточно, но все же не рисковали голодать. Лично для меня и семьи этот вопрос разрешился более чем благополучно, ко мне подошел морской офицер, которого я совершенно не знал, и предложил мне внести меня с семьей в список довольствующихся на офицерском положении. Я его поблагодарил, принял предложение и разговорился. Оказалось, что он знает меня понаслышке как прежнего докладчика по морской смете*. Во время этого разговора выяснилось, что он и большинство его сослуживцев крайне разочарованы и решительно отказываются в будущем продолжать борьбу, что бы там ни произошло: "Будет с нас". Ночью опять двинулись вперед и шли остальное время со скоростью до шести узлов. В пути мы не встречали судов, двигавшихся к Босфору, кроме двух пароходов Русско-Лунайского пароходства. Из них один, "Кашеринин", имел совершенно прогоревшие котлы и был незадолго до эвакуации приведен "Рионом" на буксире для ремонта в Севастополь. Чтобы не тащить пустой корабль, администрация оставила на нем большую партию бензина, которую разгрузить не успели. Не желая оставлять его в добычу большевикам, правление приказало своему старому речному буксиру взять его на веревочку и тащить в Константинополь. Но у буксира котлы были тоже неисправны, и он едва справлялся с непосильной задачей, как вдруг его котел взорвался, и оба судна бес-

* В Комиссии Государственной Думы III и IV созыва.

помощно остались среди моря. Пришлось "Каше-ринину" поменяться ролями, развести пары в своем изношенном котле и тащить своего товарища по несчастью. Когда они нас увидели, командиры начали усиленно подавать сигналы о бедствии. Мы их нагнали, подошли на близкое расстояние, и тут выяснилось, что они все же продвигаются со скоростью полутора узла. Несмотря на просьбу взять их на буксир, наш командир решил, что и мы сами не в блестящем состоянии, а они все-таки двигаются и могут самостоятельно дойти. Поэтому им дали сигнал, чтобы они терпели бедствие до Константинополя, и дали ход машине. Идя со скоростью шести-семи узлов, мы скоро потеряли из вида двух "инвалидов", удиравших от большевистского плена. И действительно, они в конце концов благополучно дошли до Босфора, хотя сожгли в пути не только весь уголь, но и дерево до обстановки включительно. Мы, видимо, шли много западнее прямого пути из Севастополя в Босфор, ибо нас снесло во время наших невольных остановок.

Плавание наше продолжалось до 4-го вечера, когда мы уже в темноте вошли в устье Босфора и встали на якорь. Ночью к нашему кораблю подошла маленькая парусная яхточка и зацепилась у нас за кормой. Она пришла из Ялты самостоятельно с несколькими членами местного яхтклуба. Утром мы увидели, что в проливе стоит ряд пароходов, переполненных пассажирами в ожидании разрешения идти в Константинополь. На их мачтах развевались французские флаги, под защитой коих мы надеялись пройти в Мраморное море. Что было бы с нами, если бы французы отказали нам в

праве поднять их флаг, никто не думал, так естественным казалось, что союзники якобы обязаны нам помочь. А между тем, вероятно, без покровительства французов нас просто не пустили бы в Константинополь.

В числе других судов в Босфоре стояли пароходы РОПИТа*, пришедшие из Ялты. Суда были переполнены свыше меры и ждали, что их отправят в карантин, как то бывало ранее при прежних эвакуациях. Нам тоже приказали идти к карантину, несмотря на военный флаг, все еще развевавшийся на яхте. Однако в Константинополе, видимо, поняли, что невозможно проделывать карантинную формальность с таким громадным количеством беженцев, и потому днем последовал приказ всем идти в Модии, рейд в Мраморном море около азиатского устья Босфора.

Печально было следование по проливу, невольно вспоминалось недавнее плавание по этим же водам, когда среди цветущего лета мы шли через Босфор, направляясь к берегам Крыма, где только что возобновилась борьба за спасение Родины. Теперь все было кончено, наступила суровая осень, над головой вместо ясной лазури низко нависли свинцовые тучи, холодный ветер дул с севера, неся с собою суровую зиму, мало привычную для обитателей этой южной страны.

На рейде мы застали целую флотилию, суда стояли в несколько линий, растянувшихся на громадное расстояние. Впереди встали корабли под Андреевским флагом, за ними Доброволь-

* Российское общество пароходства и торговли.

ного флота и казенные транспорты, далее бесконечные вереницы коммерческих судов всяких рангов, величин и названий. Все это было до отвала переполнено народом.

Мы встали в линию позади линейного корабля "Алексеев". Однако еще далеко не все корабли пришли с моря, не видно было громадного "Риона", на котором шло до 6000 человек, в том числе мои бывшие подчиненные. Говорили, что он сжег весь свой уголь в пути и беспомощно болтался недалеко от Босфора. Ему дали руку помощи американцы и вскоре привели в Босфор. Не видно было и "Корнилова", на котором находился Врангель. Этот крейсер вышел последним из Севастополя (*не разб. - Н. Р.*), прошел вдоль всего берега Крыма до Керчи, где происходила последняя посадка казачьих частей. Там не было крупных транспортных судов, зато собрано много всякого рода мелочи, на которую погрузили не только части, предназначенные к посадке в Керчи, но и отошедшие сюда из Феодосии кубанские части. Благодаря тихому морю вся эта мелкота благополучно добралась до Константинополя, хотя и с большим запозданием. Кажется, только один поврежденный миноносец погиб в пути, все остальные суда благополучно дошли по назначению. "Корнилов" дождался отхода последнего судна из Керчи и только тогда направился в Константинополь, куда, впрочем, прибыл много раньше большинства керченских судов.

В первые дни по прибытии на рейд нам не позволяли съезжать на берег, и мы стояли на якоре в ожидании решения нашей судьбы. На другой день прибыл к нам на катере ген. Лу-

комский*, и от него мы узнали первые новости. На рейде уже собралось более ста судов и все подходили новые, все они были переполнены беженцами. На судах не хватало воды, начинался форменный голод. К счастью, погода была сухая, хотя и холодная, поэтому простудных заболеваний пока было мало. Но барометр начинал падать, надо было ждать начала дождей, а тогда положение людей, скученных на палубах и не имеющих возможности ни обсушиться, ни обогреться, стало бы совершенно невыносимым. Надо было принимать экстренные меры, чтобы выйти из тягостного положения.

Из членов правительства один Кривошеин** находится пока на берегу и ведет переговоры о нашей судьбе, но уже ясно, что разговора о нашем возвращении в Совдепию не поднимается. Лица, эвакуировавшиеся на французском флагманском крейсере, должны сойти на берег немедленно, все остальные эмигранты останутся на кораблях до решения нашей судьбы.

Мне Лукомский обещал устроить получение разрешения на переезд в город возможно скорее, так как надо организовать немедленно какой-то орган для разборки и реализации имущества и для снабжения кораблей водой и провизией. Во главе этой комиссии, по предложению Кривошеина, решено поставить меня.

* Ген. А. С. Лукомский - представитель ген. Врангеля при Союзном командовании в Константинополе.

** А. В. Кривошеин - фактический глава Южнорусского правительства в Крыму - помощник ген. Врангеля по гражданской части.

Таким образом мне предстояло с первых же дней взять на себя трудное дело, связанное со множеством хлопот и неприятностей. Я знал, что средства наши ничтожны, что удовлетворить сколько-нибудь полностью нужды 150 тысяч человек представляется немыслимым, поэтому на исполнителей неизбежно должна была направиться волна негодования. Но делать было нечего — взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Действительно, через день Лукомский опять пришел к нам на катер "Буюк-Дере" и забрал меня на берег.

В русском посольстве я встретил Кривошеина, уже значительно оправившегося от потрясений, связанных с нашей катастрофой. Он вполне овладел собою и проявлял обычную деятельность и энергию в организации помощи беженцам и армии.

От него я узнал, что армию, вероятно, разместят в лагерях, что французское военное командование будет выдавать на первое время ей пайки из своих военных запасов. Для реализации имущества предполагается назначить ликвидационную комиссию, и вопрос этот должен решиться на другой день. Только что пришел "Корнилов", там находится Главнокомандующий, которому завтра утром все предложения об учреждении комиссии и о моем назначении во главе ее будут представлены на утверждение.

На другой день утром Кривошеин, Лукомский и я отправились на катере на рейд, где стоял "Корнилов".

В первый раз после начала нашей эвакуации я увидел Врангеля. Он был все тот же, только еще более нервный и порывистый. Как будто он

еще на что-то надеялся, весь ушел в хлопоты и заботы по размещению армии, его мысли были заняты исключительно ее судьбой. Он долгое время беседовал с Кривошеинным, утвердил все его предположения, но я ясно почувствовал, что между ними нет более прежней близости. Моя аудиенция была не долга, я получил краткую инструкцию и ретировался.

В этот мой визит на "Корнилов" я узнал, что в силу заключенного соглашения Врангеля с французским адмиралом все наши казенные суда транспортного флота передаются французам в качестве обеспечения возмещения расходов по содержанию эвакуированных частей армии. Списки судов были составлены Кедровым*, причем не были включены корабли военного типа и пароходы Добровольного флота, которые рассматривались как принадлежащие не правительству, а особой организации участвующего характера. По поводу этого возник спор с французами, которые, впрочем, не очень настаивали на своей точке зрения. На всякий случай Кедров предупредил меня, так как могло случиться, что мне придется говорить по этому поводу с французами.

По возвращении на берег я пошел к Гербелю, чтобы выяснить, что можно ликвидировать из имущества, находившегося еще на берегу. Затем надо было немедленно вскрыть и описать все, что находилось на судах и что было привезено из Крыма.

* Адмирал М. А. Кедров - командующий флотом и нач. мор. управления при ген. Врангеле.

Делать это надо было возможно скорее, денежные средства были ничтожны, а расходы предстояли громадные. К тому же, на судах голодающие люди начинали торговлю казенным имуществом, что крайне облегчалось тем, что около судов все время вертелись десятки лодок, которые торговали съестным как за деньги, так и за всякого рода имущество — до сапог и форменного платья включительно. В то же время можно было ждать, что кредиторы предъявят иски и в обеспечение их наложат арест на всё, что принадлежит правительству Врангеля.

Врангель считал, что все остатки наших средств должны быть сохранены на содержание армии и военных учреждений, что эта сила может еще пригодиться, поэтому надо сохранить возможно больше людей в частях. Таким образом, нам предстояло прекратить платежи по обязательствам и долгам.

Для меня было ясно, что если это станет известным, тотчас посыпятся судебные аресты на всё наше имущество и на остатки денежных сумм, хранившихся в банках.

Мы находились на чужой территории в качестве едва терпимых и крайне нежелательных иностранцев, вполне беззащитные и бесправные. Поэтому помимо судебных решений нам грозило и административное воздействие разных высоких комиссаров, как здесь называли представителей держав-оккупантов. Словом, прежде всего надо было выиграть время.

Для того, чтобы придать ликвидации имущества явный и лояльный вид, чтобы рассеять опасения кредиторов и поставить всю операцию под видимость общественного надзора, я решил организовать комиссию по ликвидации таким

образом, что ее работа распадалась на две стадии. Первая состояла в обсуждении способов ликвидации и в выработке условий сделок, а равно в приведении в известность имущества, подлежащего ликвидации, во второй стадии только осуществлялось решение, принятое в первой. В работах на первой стадии принимали участие представители общественности, главным образом избранные союзом торговли и промышленности. Вторая очередь работ осуществлялась исключительно чинами правительственного аппарата.

Общая балансовая стоимость нашего имущества, находившегося на судах и на берегу, была велика и во много раз превышала наш пассив, поэтому такое публичное обсуждение вопросов сразу несколько успокоило кредиторов, которые согласились ожидать нормальной реализации имущества и не прибегали на первых порах к суду и защите высоких комиссаров...

Число и сумма претензий к казне росли неимоверно, каждый день являлись господа, которые предъявляли все новые требования. Как только стало известным, что почти все книги и документы брошены при эвакуации, множество лиц начало предъявлять требования об уплате за выполненные и неисполненные заказы, причем проверить основательность этих претензий не представлялось возможным. При начале наших работ я решил уплатить несколько десятков тысяч турецких лир по бесспорным претензиям, главным образом иностранным кредиторам. Откладывать эти платежи было опасно, так как иностранцы эти имели полную возможность немедленно получить помощь сво-

их высоких комиссаров, а самый факт вмешательства последних в наши дела спугнул бы всех остальных кредиторов. Но уплатив по выданным в Крыму тратам и переводам, мы решили все остальные претензии передать на предварительное рассмотрение в особую подкомиссию. В состав последней входили тоже представители торговли и промышленности и чины ведомств контроля и финансов.

Эта подкомиссия очень внимательно и основательно разбиралась во всех деталях предъявляемых требований, причем сразу же оказалось очень много преувеличений и прямо недобросовестных претензий. По признанным комиссией суммам решено было немедленно выдавать 20% присужденной суммы с тем, что окончательный расчет должен был произойти после ликвидации имущества. Это успокоило кредиторов и дало возможность ликвидировать спокойно ту часть имущества, которая была на берегу. Однако скоро выяснилось, что второй части никто из кредиторов не получит, так как французы в один прекрасный день распорядились арестовать все имущество, находившееся на судах, и изъяли его из ведения организации Врангеля. После этого нам ничего не оставалось делать, как фактически прекратить платежи и приостановить всякие расчеты с кредиторами.

В течение недели после моего прихода в Константинополь продолжали прибывать оставшие суда, в том числе добрались благополучно и встреченные нами два "инвалида" — "Кашерининов" и "Румянцев". Всего собралось на рейде Моды свыше 135 судов, на которых находилось около 150 тысяч человек. Надо было

организовать подвоз продовольствия и воды, чтобы прокормить всю эту массу людей, буквально лишенных средств существования, ибо наши денежные знаки потеряли всякую цену.

Под председательством Кривошеина состоялось в посольстве заседание, на котором Земскому Союзу поручено было закупить хлеб и доставить его на корабли. Снабжение водой производили моряки, отчасти тоже земцы. Но главную помощь все же оказывали французы, которые раздавали продовольствие не только войсковым частям, но и гражданским беженцам на судах. Однако вследствие удаленности стоянки судов от Константинополя и сурового времени года урегулировать снабжение оказалось трудным делом, происходило много недоразумений, одни получали достаточно, другие голодали. Поэтому добавочное питание, организуемое земцами, оказалось спасительной мерой. Однако обходилось это очень дорого, так как хлеб приходилось покупать в частных хлебопекарнях, которые, конечно, пользовались обстоятельствами. Помогали кормить голодных людей также иностранцы-благотворители, но эта помощь была не велика. Во всяком случае, ее нельзя сравнить с той помощью, которую нам оказали французы, без которых мы не смогли бы уйти от страшных сцен голода и эпидемий на кораблях, они буквально спасли положение и многие тысячи человеческих жизней.

Положение нашего правительства в Константинополе было ложным. Мы были гостями на чужой территории, вполне бесправными и бессильными нежелательными иностранцами. У нас

не было опоры, наша касса была пуста, реальной силы за нами не было.

Между тем иностранцы продолжали нас называть – "г. министр", хотя в этом названии слышалась не то насмешка, не то нота снисхождения. Вместе с тем давали понять, что пора урегулировать ненормальное положение. Оно было разрешено Врангелем, резко, посолдатски. Через несколько дней после прибытия в Константинополь меня предупредил Кривошеин, что на следующий день мы с ним поедем на "Корнилов". Утром я застал его очень расстроенным, причем он мне только сказал, что мне сделают какое-то предложение и советовал не отказываться. С нами приехал на крейсер Бернацкий*. Врангель тотчас принял Кривошеина и долго с ним беседовал, после чего позвал к себе Бернацкого.

Во время разговора Врангеля с последним Кривошеин сказал мне, что отдан приказ о расформировании Правительства юга России, что все гражданские учреждения распущены, что мы с ним теперь частные лица. Далее он дал понять, что вся реформа проведена Врангелем самостоятельно, без предварительного совета с ним, под давлением военных советников и моряков. Сам он узнал о происшедшем, когда все было уже кончено, и считает, что в будущем придется встретиться со многими неожиданностями и затруднениями. Из гражданско-

* М. В. Бернацкий – профессор, кадет. Управляющий финансовым отделом Особого Совещания при ген. Деникине, начальник Управления финансов при ген. Врангеле в Крыму.

го аппарата останется только небольшая финансовая часть, управление по делам беженцев и канцелярия по гражданским делам. Все остальное упразднено, все гражданские чиновники с момента эвакуации считаются в отставке. Во главе финансового отдела остается Бернацкий, а так как он считает необходимым лично поехать в Париж для того, чтобы собрать остатки денежных средств, то на время его отсутствия мне предложат быть заместителем до его возвращения. Сам Кривошеин считает, что ему делать здесь больше нечего, и потому он тоже едет в Париж, где будет хлопотать о том, чтобы армию возможно долее не распыляли.

Во время этого разговора я почувствовал, как глубоко обижен Кривошеин тем, что столь важное решение принято без него, он не скрывал своего раздражения против военных, которые в этот момент имели преобладающее влияние на Врангеля.

Когда вышел Бернацкий, меня пригласили к Главнокомандующему. Наш разговор был краток, генерал сказал, что счел себя вынужденным упразднить южнорусское правительство и прежний аппарат. Взамен создается организация минимального размера для выполнения текущих мероприятий по заведованию оставшимися ресурсами и по обеспечению беженцев и, главным образом, армии. Почти все функции нового административного аппарата будут поделены между двумя-тремя лицами, в числе которых для заведывания финансовой частью он оставляет Бернацкого. Последний, однако, должен выехать спешно в Париж, поэтому на время его отсутствия мне предположено предложить быть заместителем начальника финан-

совой части. Я согласился принять эту обязанность, после чего Врангель дал мне несколько указаний относительно организации будущего органа управления и поручил составить проект штатов ячейки минимальных размеров. Затем он отпустил меня с миром.

Бернацкий уже знал, что я являюсь его заместителем, и мы тут же на крейсере начали обсуждать организацию будущего административного аппарата, его штаты и компетенцию, а равно неизбежную реформу ликвидационной комиссии. Но он, видимо, находился в самом мрачном настроении, считал борьбу конченной, сохранение армии утопией и смотрел на нашу работу как на ликвидацию Белого движения. Он, видимо, уже мало интересовался подробностями, легко соглашался на все мои предложения, знал, что уезжает надолго, и предоставлял мне полную свободу действий. Его миссия в Европе состояла в том, чтобы собрать остатки денег, еще остававшихся у финансовых агентов, а также ликвидировать имевшееся там казенное имущество.

Я понял, что он вряд ли вернется в Константинополь и что щекотливая задача, которая мне поручается, вовсе не будет иметь краткосрочного характера, что, напротив, мне придется ее довести до конца.

Кроме отдела финансов, была организована небольшая беженская часть, во главе которой на первое время должен был встать С. Н. Ильин*,

* С. Н. Ильин – один из инициаторов Ясского совещания русских общественных деятелей с представителями союзных держав (Антанты) в ноябре-декабре 1918

бывший в Крыму начальником санитарной части. Его помощником намечался Пильц*, незадолго до падения Крыма вызванный из Константинополя и поставленный во главе ведомства призрения. Это назначение тесно связало Ильина с Главнокомандующим и армией, и эта связь не прекращалась до самой смерти. Во время развала нашей армии при Керенском Ильин находился в Румынии во главе учреждений Красного Креста. Его инициативе в значительной мере приписывали возникновение так называемого Ясского совещания, которому наши общественные круги в Киеве придавали большое значение. Ильин доказал тогда свое желание работать и большую энергию. Таким образом, когда он прибыл к нам в Крым, я его уже немного знал. Краткое время его службы в Крыму усилило полученное о нем впечатление как о человеке работающем и с инициативой, хотя не очень крупного калибра. В Константинополе он проявил много трудоспособности и настойчивости, болел интересами армии и глубоко был предан Врангелю. Работать с ним было легко, он был искренним и хорошим сотрудником и коллегой.

Пильца я знал лучше. Когда-то крупный чин царской административной машины, он появился на юге еще при Деникине. К моменту моего

года, на которое был приглашен Н. В. Савич.

* А. И. Пильц – тов. министра внутренних дел в 1916 г., позже иркутский ген.-губернатор. Состоял в Особом совещании при ген. Деникине и входил в состав правительства при ген. Врангеле в Крыму.

приезда в Екатеринодар во главе ведомства внутренних дел стоял Чебышев, который подыскивал себе товарища. Выбор его остановился на Пильце, как человеку опытном и с характером. С ним пришлось много поработать при подготовке различных законопроектов, в том числе по реформе земского положения. Тут явно сказалась общность наших взглядов на многие намечавшиеся реформы...

Пильц в начале 1920 года находился на Балканах, где работал в организации по оказанию помощи беженцам. Затем его выписали в Крым, где он стал во главе управления призерения, в том числе всеми организациями помощи беженцам. Теперь он становился правой рукой Ильина. Когда я отказался от звания начальника финансовой части, Врангель назначил Пильца на этот пост, пока еще в качестве заместителя отсутствующего Бернацкого, хотя было уже ясно, что последний назад не вернется. На этом посту Пильцу пришлось испытать горькую чашу унижений – следствие нашего бесправия, с одной стороны, и банкротства, с другой.

Положение о новой организации финансовой части было утверждено Главнокомандующим дня через два. Было образовано три отдела, именно – финансовый, контроля и торговли. Во главе первого отдела остался финансовый агент в Константинополе – Балабанов, во главе второго – Нестерович и третьего – Гербель. Последний отдел должен быть закрыт, как только кончится ликвидация имущества. Ускорению последней помогли французы, которые просто реквизировали все имущество, вывезенное из Крыма. Сперва они наложили руку на три больших па-

рохода с углем, пришедшие в наш адрес, а затем им это понравилось и они распространили эту меру на все, что находилось на судах. Особенно тяжело было для нас потерять грузы, находившиеся на "Рионе", это был наш единственный запас обмундирования и материалов для шитья теплой одежды, а между тем войска очень страдали от холода и плохого обмундирования, пришедшего в полную негодность во время последних боев и эвакуации. Стоимость этого имущества оценивалась во много десятков миллионов франков, средств приобрести новые материалы у нас не было, таким образом отпадала последняя надежда сносно одеть людей, хотя наступала уже зима, дул вечный ветер, постоянно шел мелкий дождь. Но приходилось покориться – без помощи французов мы не могли прокормить армию и десятки тысяч беженцев, буквально лишенных всяких средств и возможности найти себе какой-либо заработок. Содержание всех этих людей стоило французам сотни тысяч франков ежедневно. Естественно, им хотелось вернуть хоть часть расходов, а главное иметь возможность сказать в палате, что расходы на содержание врангелевцев будут покрыты за счет сумм, вырученных от продажи имущества и кораблей.

Ликвидация южнорусского правительства, произведенная поспешно и без всякой предварительной подготовки вопроса, вызвала много трений и трудностей. Между приказом о ликвидации старого аппарата и созданием новой ячейки прошло некоторое время, причем в сознание иностранцев проникла мысль, что никакого преемства власти тут не имеется, что старая власть, которая как-никак существовала

на своей территории и даже признавалась, упразднена, что все мы стали просто беженцами, просто людской пылью, без связи и организации. Они не хотели признавать за Врангелем права делать новые назначения в Константинополе, поэтому они немедленно использовали обстоятельства и перестали с нами считаться. Еще накануне они писали нам — "г. министр", после приказа о ликвидации стали приказывать и грозить, рассматривая нас как каких-то приказчиков частной компании, находящейся в ликвидации и прекратившей платежи. Таким образом, новая организация сразу попала в крайне трудное положение, даже личная неприкосновенность старших начальников не была ограждена. Был момент, когда Пилыц был вынужден лечь в постель в посольстве и отлеживаться, чтобы не быть арестованным в административном порядке английским высоким комиссаром.

Не менее ошибочна была эта мера по отношению к тем, кого непосредственно касалась. Врангель не хотел считаться с самолюбием и личными интересами лиц, коих касалось новое распоряжение. В положении, в котором он находился, Главнокомандующий был в сущности лишен возможности и права принуждения. Следовательно подчинение ему стало актом чисто добровольным, делом внутренней совести каждого. А он не хотел этого ни понять, ни допустить, как будто мы все еще были в Крыму, среди верных войск на своей территории. То, что было допустимо тогда, что молча исполнялось, стало немыслимым теперь, вызывало страшное раздражение, иногда противодействие. Многие управления целиком, со своими

начальниками во главе находились еще на кораблях, там же была вся отчетность, все книги и документы, которые удалось кое-кому вывезти. Когда люди узнали, что они уже за бортом, что им предстоит перейти немедленно на беженское положение, у многих опустились руки, они перестали интересоваться дальнейшим сохранением остатков архивов, с таким трудом вывезенных. Другие озлились и у них создалась психология: на нас наплевали, и мы наплюем.

В ближайших же заседаниях ликвидационной комиссии мы это очень остро почувствовали. У многих лиц, предъявлявших претензии без всяких доказательств, вдруг эти доказательства появились, видимо, переданные бывшими чиновниками, ставшими теперь поверенными истцов. Другие, более добросовестные чиновники, на это не шли, но возмущенные отношением к ним, не хотели нам ни в чем помочь, не давали сведений, кои помогли бы разобраться в том хаосе, который явился следствием внезапной эвакуации. Иногда это приводило к большим затруднениям и убыткам. Еще большие последствия вызвало такое же отношение Врангеля к дипломатическому ведомству, в значительной мере от нас автономному.

Однажды, очень скоро после расформирования южнорусского правительства, я застал на "Корнилове" совещание Врангеля с лицами, уезжающими в Париж, причем обсуждался вопрос о сокращении расходов на разного рода представительства. При этом Врангель решил, что до 1 января посольства и дипломатические миссии могут получать содержание в старом размере, но после этого срока господа дипломаты мо-

гут существовать, как хотят, без содержания из средств казны. Между тем, дипломатический аппарат, хотя и поддерживал все белые правительства, но никогда не считал себя им подчиненным. Тем более теперь, когда мы сами стали беженцами на чужой территории, он оказал резкий отпор распоряжению, клонящемуся к фактической ликвидации этого аппарата. При этом остатки денежных средств находились в руках не наших агентов, а у финансовых агентов, состоявших при различных дипломатических представителях и непосредственно подчиненных последним. Естественным последствием такого шага Врангеля было, что дипломаты оказали противодействие. Бахметьев*, у которого находились наиболее крупные остатки, взял на себя инициативу по созданию нового аппарата для распоряжения денежными средствами. Было образовано Совецание Послов, к которому присоединились финансовые агенты, из-за чего Врангель и его аппарат лишились одновременно и поддержки дипломатического аппарата, с которым произошел известный разрыв, и денежных средств, которые перешли в руки Совецания Послов и образованного при нем Финансового Совета. В последнем принимали участие представители Земгора и Красного Креста, которые, конечно, более болели интересами своих гуманитарных организаций, чем стремлением Врангеля сохранить все деньги исключительно для нужд армии.

* Б. А. Бахметьев - русский посол в США, назначенный Временным правительством, кадет.

Почти немедленно после организации нового аппарата власти пришлось иметь сношения с представителями великих держав. Стало ясно, что лично эти агенты держав Антанты нам сочувствуют, относятся дружелюбно, но под влиянием прямых указаний, полученных из центра, они вынуждены рассматривать армию как беженцев, лишенных организации и власти, которая ими управляет. Тем более они не хотели признавать новой ячейки правительственного аппарата, сношения с которым скоро совершенно прекратились. Со штабом они продолжали иметь связь и сношения, хотя в получастном порядке, причем они постоянно подчеркивали, что делается это временно и что они права на то не имеют. Находившийся в Константинополе дипломатический представитель Нератов* оказывал нам всяческое содействие и не порывал связи с нами. Впрочем, это было единственное дипломатическое представительство, которое продолжало некоторое время получать содержание из средств главного командования, хотя в сильно сокращенном размере. Однако Нератов являлся в глазах высоких комиссаров не нашим агентом, а частью того старого дипломатического аппарата, который представлял собою теоретическую Россию, с которым их правительства сносятся, если не официально, то официозно, в их столицах, поэтому, ведя с ним прямые переговоры, они не нарушали тех точных инструкций отно-

* А. А. Нератов – товарищ мин. иностранных дел с 1910–1916, Управляющий ин. делами в Особом Совещании при ген. Деникине, возглавлял дипломатическое представительство в Константинополе при ген. Врангеле.

сительно нас, которые были преподаны из центра.

Самой трудной задачей было разместить всю массу людей, находившихся на судах, свести их на берег. Ибо, раз люди будут на берегу, отпадала опасность, что вдруг по случайному решению или капризу в Париже или Лондоне им прикажут сниматься с якоря и идти куда глаза глядят, быть может, даже в Совдепию. После долгих колебаний и препирательств армию решено было свезти на берег в трех пунктах, где она должна была расположиться лагерным порядком. Первый лагерь находился около Чаталджы, где расположились главным образом донцы, регулярные части были свезены на берег в Галиполли, кубанцы и терцы попали на Лемнос. Положение войск в этих лагерях на первых порах было очень тяжелое, погода испортилась окончательно, лили дожди, укрыться от которых было негде. К тому же, при нашей нищете им нельзя было дать материалов и орудий для быстрого устройства убежищ от непогоды, обмундирование было плохое, питание недостаточное, во всяком случае мало привычное.

Но армия очень скоро собралась с духом и начала устраиваться. Конечно, были слабые элементы, которые не выдерживали. Последние уходили из лагерей и переходили на беженское положение. О них Врангель не беспокоился, он смотрел на таких людей как на рядовых беженцев, о которых его заботы прекращались с момента своза на берег. Это создало ему впоследствии много врагов, ибо среди таких людей, не желавших и не способных выносить тяготы лагерной жизни среди зимы и при пол-

ном отсутствии каких-либо удобств, имелось известное число чинов старших по возрасту и по производству. О них заботы прекратились, они, съехав на берег, оказались на беженском положении, не имели средств существования, пособий им не давали. Они увидели себя выброшенными на улицу, страшно нуждались и озлобились. Среди них и теперь* Врангель имеет непримиримых врагов.

После долгих переговоров Штрандмана** с сербским правительством последнее согласилось принять до 20.000 беженцев. Это была капля в море, так много народу стремилось в эту страну. Сербы относились к нам дружески, сочувствовали нашему несчастью, но их страна была уже в значительно мере насыщена беженцами. Уже при эвакуации Новороссийска туда отправилось много тысяч беженцев и находилось там на казенном пайке. Затем англичане переправили туда большую часть вывезенных ими беженцев так называемой английской эвакуации. Когда теперь опять обратились к сербам с просьбой принять еще несколько десятков тысяч человек, они согласились, но поставили условием, что англичане или французы возместят расходы по содержанию всей этой массы людей. Сперва была надежда на то, что французы согласятся внести известные суммы, лишь бы избавиться от людей, сидящих на их пайке.

* Н. В. Савич работал над своими записками в 1927 г. – Прим. Н. Рутыча.

** В. Н. Штрандман – и. д. русского посланника в Сербии.

Однако скоро выяснилось, что французское правительство категорически от этого отказалось, оно еще могло кормить некоторое время армию и беженцев за счет оставшихся от войны запасов, предназначенных для оккупационных войск, но испрашивать кредиты у палаты ему было невозможно. Поэтому сербы не хотели принять беженцев сверх установленной ими нормы. Правда, на судах, отправленных в Сербию, оказалось на несколько тысяч человек больше установленной нормы в уверенности, что их не вернут, что и оправдалось. Сверх того удалось убедить Болгарию и другие балканские государства принять несколько тысяч человек беженцев, но всего этого было недостаточно, чтобы рассосать основную массу прибывших в Константинополь людей. Тогда начались попытки убедить сербов принять еще некоторое количество, причем в частичное возмещение связанных с таким принятием расходов стали предлагать передачу разного рода имущества, еще не реквизированного французами. Так отправили в Катарро пароход с железнодорожным грузом, но из этого ничего, кроме разочарования не получилось. Груз, хотя и представлял крупную ценность, но для сербов он не подходил, так как железные дороги Сербии не могли его использовать без больших затрат, а пока что его надо было беречь, следовательно расходовать на это средства. Потом пришел в Константинополь другой пароход из Америки, на котором предполагали партию оборудования ружейного завода Ремингтон, которое по условию заказа ему винтовок должно было быть передано русскому правительству после окончания поставок. Тогда предложи-

ли сербам передать им это оборудование и помочь организовать казенный оружейный завод. Это предложение сперва очень заинтересовало сербское правительство, которое стремилось сделать свою страну независимой от заграничных оружейных заводов. Но при ближайшем рассмотрении груза оказалось, что, хотя на пароходе имелось некоторое количество станков с завода Ремингтон, но большая часть оборудования была во время войны реквизирована американским правительством и на пароходе оставались лишь части, из которых никакого завода даже в малом масштабе организовать нельзя.

Так ничего из этих попыток не получилось, пришлось свезти беженцев в константинопольские лагеря, благо французы еще продолжали кормить. Хуже всего было положение тех беженцев, которые сошли на берег и не попали в первые дни в лагеря. Средств они почти не имели, наши деньги ничего не стоили, заработать было нельзя, ибо промышленности почти никакой, все привозное. Местные греки и турки сразу учли беспомощное положение беженцев и начали их эксплуатировать всюю. Единственное, что еще процветало, это различные столовки для беженцев, но и этот промысел не мог быть прочным и должен был захиреть по мере того, как большинство проедало последнее. Мораль быстро падала. Мужчины начали заниматься всякими темными делами, женщины производили самое жалкое впечатление. Поэтому как ни тяжело было положение в лагерях, все же люди там не голодали, французы спасли не только жизнь тысяч людей, но и предохранили множество от полного морального падения. Как

я уже сказал, французы реквизировали наши грузы, бывшие на пароходах. Это сделало для нас фактически невозможным расплатиться с кредиторами. Между тем суммы, ранее вырученные за проданные нами товары, пошли частью в общую кассу Главного Командования и только частью на покрытие долгов. При этом, если память не изменяет, на последнюю потребность было обращено приблизительно 2/3 вырученной суммы, остальное ушло на содержание армии и помощь беженцам. Пока остальные грузы были в наших руках, кредиторы молчали, но как только стало известно о секвестре товаров, они пришли в естественное волнение и начали искать способов обеспечить возврат своих денег. Сперва попробовали наложить арест на текущие счета, но было уже поздно, на счетах ничего не оставалось. Балабанов сумел спрятать остатки так, что их не нашли. Кредиторы начали обращаться за помощью к иностранным властям. В Константинополе в то время ни суда, ни законов не признавалось, над всем господствовало усмотрение высоких комиссаров, каждый из них был волен принять по отношению к нам любую меру, которую никто не отменить, ни опротестовать не мог, особенно когда дело касалось турок или нас. Когда французы приказали передать им грузы, мы могли только повиноваться, но такими же беззащитными против этой меры оказались и кредиторы. Ликвидационной комиссии нечего было продавать, отныне ее функции состояли только в определении размера претензий, признаваемых казной. Кредиторам стали выдавать удостоверения, которые являлись чисто платоническим удовлетворением. Кредиторы, особенно

из восточных людей, грозили применять меры физического воздействия по адресу членов комиссии, если им не будут уплачены их деньги, чего сделать было невозможно.

Конечно, при таких обстоятельствах исчез интерес у общественности сидеть в ликвидационной комиссии. Первые сообразили это представители торгово-промышленного союза. Они пошли к Врангелю и заявили, что комиссию надо преобразовать, сократить число ее членов, доведя ее до трехчленной коллегии. Председателем должен был остаться я как заместитель начальника финансовой части, затем представитель контроля и представитель Союза торговли и промышленности. Последним намечался Ростовцев, бывший член Гос. Думы и мой большой приятель. Он давно служил в этом союзе на платных должностях, это было его единственное средство существования. Теперь достигалось, что он продолжал числиться у них на службе, но была надежда, что удастся скоро перевести его на казенный паек, что облегчало бюджет союза. Врангель согласился.

У Врангеля явилась идея предложить управление финансовой частью Владимиру Рябушинскому*. Последнему было написано письмо по этому поводу, которое имело определенный эффект — Рябушинский немедленно сел на пароход и отбыл на другой же день в Марсель. Единственным представителем этой среды, который все время был с нами и остался с армией до самой своей смерти, был Ростовцев, но он только одним боком принадлежал к именитому

* Представитель промышленных кругов.

купечеству, он был столько же землевладелец и землец и пробыл пять лет в Гос. Думе, где принадлежал к фракции земцев-октябристов, усвоив идеологию последней. Поэтому он среди именитого купечества был белой вороной.

Бернацкий, передав мне заведование отделом финансов, уехал в Париж вместе с Кривошеиным и Даниловым. Я сперва думал, что французы не дадут последнему визы, но это оказалось ошибочным, ни малейшей задержки не произошло. Когда наши делегаты уезжали, чтобы хлопотать о возможности сохранить военную организацию армии, предполагалось, что Кривошеин будет стоять во главе делегации, вести главные переговоры. Но вскоре после их отъезда это решение было изменено, главное поручение было передано Данилову, а Кривошеин стал как бы его советником. По существу это не меняло положения, так как в Париже уже созрело решение добиться в кратчайший срок распыления армии и там считали, как определенно высказал Пуанкаре одному представителю русского парламентского комитета, что вопрос может идти только о сохранении жизней бежавших от ярости чека людей.

Сам Бернацкий, осмотревшись, решил остаться в Париже, где он надеялся объединить деятельность финансовых агентов на иных основаниях, чем прежде. В Париже к Врангелю относились иначе, чем в Константинополе, здесь его считали разбитым начальником, конченным человеком, подобно Юденичу или Миллеру. Армию сразу же перестали считать воинской силой, орудием возможной борьбы, признавали ее просто несколько отличной по составу и происхождению массой эмиграции, обособлен-

ной, но все же несомненно беженской массой. Для Парижа, не только для французов, но и для русского Парижа, Врангель перестал быть Главнокомандующим, начальником и главою белого лагеря, на него смотрели как на одного из беженцев...

В этот критический момент произошло образование новой политической организации, так называемого Совета Послов. Инициатива, видимо, принадлежала Бахметьеву*, в руках коего находились наибольшие суммы. Совет послов сам претендовал стать последним обломком русской государственности, то есть как раз тем, чем считал себя Врангелевский аппарат. К тому же финансовые агенты предоставили в распоряжение Совета Послов значительные суммы на содержание остатков дипломатического аппарата и на помощь беженцам. Эти деньги Врангель признавал принадлежащими армии как наследнице правительств Колчака и Деникина, поэтому передачу их Совету Послов в Константинополе считали узурпацией его прав. Отзывы Врангеля подчас были очень резки, они доходили до Парижа и не способствовали улучшению отношений. Притом же для расходования средств, предназначенных на помощь беженцам, был организован при Совете Послов Финансовый Совет, который направлял первоначально все средства через Земгор. Все это вызывало сильнейшее недовольство в Кон-

* 2 февраля 1921 по инициативе прибывшего из США Бахметьева в Париже состоялось при участии Маклакова, Гирса и др. Совещание послов, на котором был образован постоянный орган "Совет послов".

стантинополе, но там долго не хотели и не могли понять, что отношения переменялись в корне, что мы больше для Парижа не начальство, что на нас смотрят как на одну из организаций, которой можно помогать, но которая не может распоряжаться деньгами, находящимися вне Константинополя.

Конечно, такое положение создалось не сразу, на практике приходилось пережить ряд переходных форм, но одно несомненно, что с момента падения Крыма парижские организации почувствовали себя автономными от Врангеля и его аппарата. Быть может, былую связь никакими силами уже нельзя было сохранить, но надо признать, что и попыток к этому сделано не было. Напротив, распоряжение о том, что посольский аппарат должен с января сесть на пищу св. Антония, только ускорило и более ярко проявило разрыв. Мы одновременно лишились поддержки финансовых агентов и симпатий дипломатического аппарата.

При таких обстоятельствах миссия Кривошеина и Данилова была безнадежна. Об этом мы были поставлены в известность, но примириться не хотели или, вернее, морально не могли. На руках были десятки тысяч людей, принадлежавших к русской армии, которые доверили свою судьбу Врангелю и которых надо было как-то устроить. Сделать же это, признав распыление армии, было совершенно невозможно, немедленно наступил бы хаос и моральное разложение, которые привели бы к гибели всю эту бездомную и бесправную массу людей. Для Врангеля и его близких было ясно, что только поддержанием видимости военной организации можно влить в душу этих несчастных новую

веру в себя и в свое назначение, заставить их подтянуться нравственно, вновь собраться с духом и поверить, что в прошлом они были правы, проливая свою кровь за родину, и в будущем для них не все еще потеряно, что будущее еще впереди. Это также отвечало и моральному складу этих людей. Люди, входившие в состав полков, батарей и прочих частей, после высадки невольно жались друг к другу и все вместе к Врангелю. Они были бесприютны и беспризорны, выброшены на пустые и дикие берега, полуодетые и лишенные средств к существованию. Большинство не имело ничего впереди, не знало ни языков, ни ремесла. В то время было почти невозможно получить визу для въезда в какую-либо промышленную страну. Поэтому все надежды были обращены только на Врангеля, только от него ждали спасения, возможности пережить первое, самое трудное, время. А для того, чтобы он мог играть какую-либо роль, иметь какой-либо вес в глазах иностранцев, ему надо было опираться на послушное и дисциплинированное ядро армии.

Понимала это и армия, по крайней мере высадившаяся в состоянии далеко зашедшего разложения, она очень скоро спаялась, опять стала монолитом. Французы это очень быстро почувствовали. Высадившиеся части старались сохранить возможно больше оружия, прятали его от взора союзников как только могли. Это стало известно. Англичане забеспокоились. Смешно сказать, но союзники одно время серьезно опасались, что наши части, расположенные в Чаталдже, возмутятся и захватят Константинополь. Они считали, что гарнизон последнего не в силах будет отбить подобного

покушения, и начали хлопотать, чтобы убрать нас подальше, лучше всего на острова, где наши части были бы заблокированы морем. Особенно настаивали англичане, чтобы войска из Чаталджы были перевезены на Лемнос. Это совпало с моментом, когда прибывший новый корпусный командир французских оккупационных войск Шарпи, исполняя, видимо, инструкции центра, переусердствовал в подчеркивании пренебрежения к нашей военной организации. Беспрерывно сыпались предупреждения о том, что через короткий срок прекратится питание наших частей, что мы должны сами позаботиться о продовольствии войск. Вообще он всегда высказывал известное враждебное отношение к нашим частям и высшему командному составу в особенности. Естественно, это обстоятельство усиливало тяжесть предстоящей меры. Во-первых, войска в Чаталдже уже кое-как устроились, а теперь надо было начинать все с начала. Во-вторых, условия в Лемносе были не лучше, а хуже. К тому же все понимали, что пока войска находятся в одном переходе от Константинополя, их не перестанут кормить хотя бы из боязни того, что отчаявшиеся и умирающие с голода солдаты начнут бунтовать и разнесут город. Высокие комиссары, решив перевести части из Чаталджа в Лемнос и Галлиполи, сообщили это к сведению штабу Врангеля, причем все подготовительные распоряжения проводили сами помимо нас. В назначенный день к берегу подошли посланные ими пароходы, и французы отдали приказ садиться на суда. Но части ответили определенно, что сядут только в том случае, если им то прикажет Врангель. Тогда было отдано приказание принудить их силой,

в результате чего была пролита кровь, сине-галльцы проворно ретировались. Для французского командования стало ясно, что относиться с пренебрежением к русскому командному составу небезопасно, поэтому начались разговоры с Врангелем, по первому слову которого люди сели на корабли и отправились по назначению. Этот случай поднял престиж Главнокомандующего в глазах иностранцев, была подчеркнута внутренняя спайка, очень крепкая и сознательно подчеркиваемая низами. После этого французы не делали больше попыток распоряжаться нашими частями помимо штаба Главнокомандующего.

Скоро начался организованный поход на армию. Французскому правительству не улыбалось кормить бесконечное время десятки тысяч человек, оно давило на местные свои органы в смысле ускорения распыления и рассасывания армии. Местные начальники периодически распускали слухи, что с такого-то числа паек будет прекращен. Это нервировало войска, но нельзя сказать, чтобы очень смущало нас, ближайших сотрудников Врангеля. Мы были в курсе настроений Парижа, знали, что там жаждут скорейшего распыления армии, но что все же они не пойдут на то, чтобы поставить ее в безвыходное положение. Поэтому делали все возможное, чтобы доказать французам, что мы сами заботимся о том, как бы скорее распределить людей по разным странам, причем, однако, в первую очередь рассылали те элементы, которые являлись наименее устойчивыми и ценными для армии. Так постепенно отправляли в Сербию и другие концы Балкан несколько десятков тысяч человек, из которых

много народу, одетого в военную форму, но все это были или нестроевые, или люди запасных батальонов, наконец, государственная стража. Для французов была возможность сообщить в Париж, что общими усилиями удалось отправить такое большое число из Константинополя и, следовательно, уменьшить число выдаваемых пайков. Этим местное французское начальство как бы шло навстречу указаниям центра. А для нас являлась возможность лучше устроить и прокормить остающихся чинов армии. Французское интендантство начало постепенно сокращать размеры выдаваемого продовольствия, желая, видимо, этим заставить наиболее слабые элементы искать выхода или путем репатриции или перехода на беженское положение. Действительно, все время шла тяга из лагерей, часть людей, имевших возможность устроиться самостоятельно, переходила на беженское положение и рассасывалась. Одни имели средства, другие родных и знакомых, которые помогали получить визы и переехать в другие страны. Французы очень желали усилить это стремление, нарочно сокращали пайки, переводили людей подчас на полуголодное положение. Одновременно их агенты начали широко поставленную агитацию за возвращение на родину. Эта пропаганда велась совершенно открыто и имела некоторый успех у казаков. Главное Командование отнюдь не препятствовало желающим перейти на беженское положение покидать ряды армии, напротив, был отдан приказ, коим все желающие перейти на это положение призывались заявить в определенный срок об оставлении рядов армии. Конечно, такие переставали автоматически числиться в рядах армии и вся-

кая забота о них и ответственность за их судьбу снималась с Главнокомандующего. Такие люди становились частными лицами, гражданскими эмигрантами, они сами должны были о себе думать. Точно так же отправленные в Сербию и иные балканские страны переставали нас интересовать, заботы о них ложились на приютившие правительства и общебеженские гуманитарные организации.

Иное отношение, конечно, было к попыткам уговорить малограмотных и отчаявшихся людей к возвращению на родину. У нас было определенное убеждение, что таким возвращенцам грозит если не смертная казнь, то ссылка в концентрационные лагеря, где они все равно погибнут. Поэтому отдельные начальники старались разъяснить риск такого преждевременного возвращения. Однако среди казаков нашлось много людей, поверивших обещаниям полного помилования в случае немедленного возвращения на родину. Одно обстоятельство способствовало этой пропаганде.

С нами выехали атаманы и казачьи правительства. Первое время они сидели совершенно без средств и обратились через меня к Врангелю с просьбой дать им денежное содержание. Но Врангель категорически отказал, предложив мне передать Букановскому, через которого велись переговоры, что они могут разделить судьбу своих казаков, сидящих в лагерях на французском пайке. Надо заметить, что в то время у нас получали минимальное содержание только лица, живущие на берегу. Сам же Главнокомандующий и его штаб жили на пароходах и довольствовались тем же французским пайком, как и все прочие, не получая содержания.

Это было следствием крайнего напряжения наших денежных средств, надежды на подкрепление из Парижа улетучивались, вести от Бернацкого были неутешительные.

Казакам было отказано в субсидии. Тогда произошел разрыв их с Врангелем. Атаманы и казацкии правительства собрались и заключили между собой союз, организовали Совет объединенных Дона, Кубани и Терека. В основу этого объединения было положено: полная независимость от Врангеля, широкая демократическая платформа на основе отрицания принципов, положенных в основу крымского соглашения. Началась борьба за влияние на строевых казаков. Частные начальники последних остались тесно связанными с Врангелем, исполняли его приказания и, по-видимому, игнорировали акт своих атаманов и правительств. Тогда последние отправились на Лемнос в казацкии лагерь для соответственной пропаганды.

Мне пришлось услышать потом любопытный рассказ о том, как реагировали строевые начальники на попытки внести рознь между строевыми казацкими частями и Врангелем. Атаманы посетили своих станичников на Лемносе, произошли встречи, парады, смотры, все честь честью. Затем был устроен обед, на котором происходила агитация. Один из атаманов для начала произнес речь, в которой картинно сравнивал положение казачества с повозкой, запряженной тройкой лихих коней, которые стараются вывезти повозку из ухабов и рытвин. Он говорил, что в кореннике у нас могучий седой Дон, на пристяжке с одной стороны сильная Кубань, а с другой – горячий, порывистый Терек. Эта тройка не сдаст, она вывезет,

если только будет тянуть дружно, если согласует свои усилия. Поэтому он предложил выпить за объединение Дона, Кубани и Терека. Тогда встал один из строевых начальников и сказал: верно, эта тройка вывезет, но при условии, если она пойдет по верному пути. А для того, чтобы она не сбилась с пути, надо, чтобы ею управлял опытный кучер, иначе она рискует свалиться в пропасть и погибнуть сама, погубив и повозку. Поэтому предлагаю выпить за нашего испытанного вождя генерала Врангеля. После этого афронта атаманов поспешили замять разговор.

Еще раз над элементами разложения возобладала сила спайки, заложенной на полях сражений, скрепленной пролитой кровью, общими победами и общим несчастьем. Армия осталась цела, авторитет Главнокомандующего укрепился. Однако в низах этот факт раздора в верхах не мог пройти бесследно, вокруг армии вились большевистские агитаторы, в самую толщу ее проникло известное число этих господ, французы всячески поощряли распыление. Все это имело известное влияние на то, что элементы наиболее слабые отчаялись и начали искать способа выйти из положения, в которое попали благодаря эвакуации. Несколько тысяч казаков, кажется, до шести тысяч, записалось в репатрианты. Большинство из них выехало потом на родину. Конечно, мы жалели этих людей, так как считали их обреченными, слухи, доходившие до нас, заставляли предполагать, что большинство из них будет либо казнено, либо попадет в положение подозрительных, которым все равно житья не будет от чекистов, но

ничего нельзя было сделать, тем более, что это были слабые элементы.

Подобный же отказ в помощи получили высшие иерархи русской церкви. Они прибыли в Константинополь без всяких средств и просили назначить им определенное содержание и отпустить средства на церковное управление. Врангель наложил резолюцию "денег нет", что, конечно, было верно, но тем не менее создало враждебное к нему отношение.

В это время все чины армии сидели исключительно на французском пайке, сам Врангель не получал денежного содержания. Только по прошествии двух месяцев удалось собрать некоторые средства, чтобы выдать каждому офицеру по три лиры, солдату — по одной. Но и такая скромная выдача стала для нас непосильной, ибо при большом числе чинов она выражалась в сотнях тысяч франков. Впоследствии, когда я уже уехал из Константинополя, по словам Врангеля, были моменты, когда в его кассе оставалось всего 50 лир.

Врангель знал нашу бедность и был очень скуп в расходовании остатков денег. Он, между прочим, распорядился не платить долгов ни правительства, ни Деникина, ни крымского периода. Я вел упрямо другую политику, спорил с ним и продолжал настаивать на своем. Это вызвало неудовольствие Врангеля и военных, но дало возможность ликвидировать без помехи со стороны кредиторов имущество, находившееся на берегу и не реквизированное французами. При этом более трех пятых пошло в общую кассу Врангеля и меньше двух пятых было выплачено кредиторам. Я был убежден, что если бы сразу стало известно, что Врангель не соби-

рается платить по обязательствам, то мы не смогли бы ничего продать, на все было бы наложено запрещение и касса армии не получила бы очень круглой суммы, без которой ее положение было бы не раз трагическим. Точной суммы теперь не помню, но кажется, аппарату Врангеля было перечислено около трех миллионов франков.

Как легко было наложить арест на наше имущество, насколько мы были беззащитны, можно судить по следующему факту. Когда выяснилось, что мы не можем более платить по долгам, кредиторы стали передавать свои претензии иностранцам, а те обратились к высокому английскому комиссару. Тот распорядился наложить арест не только на суммы казны, но и на текущие счета лиц, имевших какое-либо отношение к организации Врангеля. Так, на личном счету ген. Никольского, числившегося в составе беженской части, находилась небольшая сумма, которая и была арестована...

Под конец моего прибывания в Константинополе наше положение становилось все более тягостным, дошло до того, что однажды англичане заявили: или платите нашим подданным или мы начнем преследовать таких-то лиц из вашего аппарата. Они, видимо, хотели задержать меня в Константинополе, но я вовремя оттуда уехал. Тогда скорпионы были направлены против Гербея и Пильца. Последний пришел в такое нервное состояние, что слег в постель и отлеживался долгое время, опасаясь выйти из здания посольства, где он жил. Когда же он не выдержал и вышел в отставку, то англичане решили не выпускать его из Константинополя. Ему пришлось выехать нелегальным порядком.

Те же меры были приняты против Гербея. Несмотря на то, что последний уже много месяцев был не у дел, его задержали, когда он наконец получил визу в Сербию. Он смог уехать только тогда, когда один дружественный нам дипломат, возмущенный таким насилием над стариком, лишенным всяких средств, выдал ему иностранный паспорт.

Вообще все мы не могли считать себя в безопасности, поэтому немудрено, что все жались друг к другу и прежде всего к остаткам врангелевской организации. Все чувствовали, что организация все же сильнее каждого из нас взятого в отдельности, что в единении — сила.

Таким образом, чисто внешние обстоятельства сплачивали и скрепляли узы, связывавшие чинов армии между собою и всех их вместе взятых с Врангелем. Постоянные угрозы оставить армию без куска хлеба, лишить ее пайка, чем французы пытались смутить дух и помочь распылению армии, оказывали обратное действие, люди понимали, что пока они одно дисциплинированное целое, привести угрозу в исполнение труднее, что у них есть не только начальство, но что это начальство есть их защита, возможность пережить лихолетье, что оно о них день и ночь заботится, думает, болеет их болезнями и радуется их радостью. Все это оказывало громадное моральное воздействие на массу, у неё появлялась вера в себя, в свою судьбу, надежда на лучшее будущее.

Громадную роль сыграло то обстоятельство, что ближайшие помощники — генералы Кутепов и Абрамов — оказались на высоте и сумели использовать положение, чтобы сковать армию

строгой и сознательной дисциплиной, от чего многие успели отвыкнуть за время гражданской войны.

Впервые после долгого перерыва армия начала проникаться духом и традициями старой императорской армии, появилось чувство солидарности, долга и ответственности всех и каждого. Появилось сознание тесной связи между армией и государственностью, возродилась преданность старым заветам: царь, церковь, родина. Так называемые цветные полки*, пользовавшиеся во времена Деникина репутацией оплота республиканской идеи, открыто прибавили к лозунгу "Родина" два другие лозунга. Закалялось и обострялось национальное чувство, любовь к России сделалась более осмысленной и чистой. Отпала та отталкивающая черта, которая так ярко проявлялась в прежнее время, именно чувство ненависти и мести. Начало просыпаться сознание, что все мы грешны, что в любви спасение. Словом, начало постепенно развиваться новое настроение, которое привело к полному моральному возрождению и духовному просветлению того ядра, которое собралось на берегах Галлиполи и Лемноса. Это моральное возрождение я замечал еще в самом начале 1921 года при всех разговорах, которые приходилось иметь с лицами из офицерской среды, приезжавшими из лагерей. Люди не строили себе иллюзий, но крепко верили, что

* Первые именные полки Добровольческой армии: Корниловский, Марковский, Алексеевский, Дроздовский, развернутые в дивизии и свернутые в Галлиполи снова в полки.

Россия воскреснет и что им надо подготовиться ей служить. Уже на Рождество 1920 года на берегах Босфора мощно разносились по воздуху торжественные звуки национального гимна, заменявшегося при Деникине преображенским маршем.

Офицеры, приезжавшие с Галлиполи, рассказывали о громадном подъеме интереса к военному делу, офицеры и солдаты считали, что наступит день, когда им придется стать хребтом и основой новой русской армии, что около них как около ядра сформируется новая национальная вооруженная сила освобожденной России. Вера в падение большевиков была общей как в армии, так и у всех русских беженцев в Константинополе. Но не верили в это иностранцы, которые считали, что чудес не бывает, что большевики, победившие окончательно белых в междоусобной войне, создадут прочную власть. Поэтому они считали, что кадры нашей армии никому не нужны, что нужно помочь скорейшему распылению армии как организованного целого, что это надо сделать в интересах людей, ее составлявших. Поэтому французы принимали меры, чтобы ускорить это распыление армии, против чего, естественно, боролся Врангель и его окружение, которые понимали, что, сохраняя кадры, они не только имеют возможность в будущем устроить этих людей возможно лучше, но и сберечь большую и морально здоровую группу, организованную и сплоченную, на случай каких-либо непредвиденных событий в России. Вместе с тем условия, в которые была поставлена эта масса молодежи, помогали создать из нее крепких духом и любовью к родине граждан

будущей России, подтянуть ее морально, внести в ее ряды строгую дисциплину, основанную не только на боязни палки капрала, но на внутреннем сознании каждого и всех вместе взятых, что только сплоченность и беспрекословное подчинение старшим может их спасти. Те, которые колебались в этом смысле, спешили уйти, им помогали в этом французы, не мешали наши военные начальники, которые не гнались за числом, но стремились удержать в кадрах лишь лучших. Происходил естественный отбор людей, наиболее преданных идее и вместе с тем не считавших себя способными покинуть родные ряды, чтобы ринуться в частную жизнь при столь неблагоприятных условиях. Удачный подбор начальников сделал остальное.

Кутепов оказался очень суровым, но вместе с тем и заботливым начальником. Его первые шаги были встречены ожесточенной бранью со стороны левого лагеря, страстно стремившегося поскорее обратить наши кадры в беженскую пыль. Естественно, меры, предпринятые Кутеповым и направленные к сохранению суровой дисциплины, им не нравились. Между тем от первых же шагов власти многое должно было зависеть в будущем. За время отступления и эвакуации у многих дух поколебался, люди начали распускаться, появились опасные симптомы разложения моральной спайки. Кутепов понял, что наступил психологический момент, он предъявил к высаживавшимся частям требование максимума возможной подтянутости и дисциплины. Первый же случай неповиновения приказу, нарушения дисциплины встретил суровое возмездие, за уголовное преступление расправа была коротка — полевой суд. Иностран-

цы не вмешивались в распорядки нашего лагеря, позволяли поддерживать дисциплину в рядах кадра всеми мерами, какие признают нужным наши начальники. Поэтому сразу же все поняли, что они не беженцы, что они вооруженная сила, живущая исстари установленными обычаями и законами прежней армии. Жизнь была урегулирована строгими нормами походной жизни во время войны. Все подтянулись, встрепенулись. Молодежь подняла голову, почувствовала себя силой, полезной и имеющей будущее. Внешняя подтянутость, чистота и возможная в наших условиях щеголеватость скоро показали, что в лагерях расположены дисциплинированные военные, составляющие со своими начальниками одно гармоничное целое, что это организованная сила, хотя почти не вооруженная, но все же могущая постоять за себя. Больше всех это чувствовали сами военные, сосредоточенные в лагерях, что и производило на них колоссальное психологическое воздействие. Они морально возрождались на глазах, можно было видеть, какой громадный интерес происходит среди этих заброшенных на пустынные скалы чужой страны людей. Через короткий срок люди эти стали неузнаваемы, они морально ожили и обещали стать самой отборной нравственно частью эмиграции...

Армия видела борьбу французов против командного состава, который старался сохранить кадры как военную силу, сочувствовала своим начальникам, была духовно на их стороне. Каждый раз, когда французы заявляли о прекращении выдачи пайков с того либо другого срока, взоры всех обращались к Главному Командованию, от него ждали спасения и

защиты. Затем неизменно следовала новая отсрочка, пайки продолжали выдавать. Это ставилось в заслугу командному составу, приписывалось его хлопотам. В результате усиливалось влияние Врангеля и Кутепова. С последним я тогда почти не встречался, он участвовал раз или два в наших заседаниях в самые первые дни пребывания в Константинополе, потом жил среди своих войск в Галлиполи. Но его имя было у всех на устах, о его работе в лагерях было много разговоров, он был правой рукой Врангеля, поэтому его роль в этот первый период нашего скитальчества была для меня ясна. Кутепов был строевым офицером старой школы, приемы воспитания армии ему были хорошо знакомы, поэтому он лучше кого-либо иного был подготовлен для перевоспитания армии. Внешние благоприятные обстоятельства ему помогали в этом, он умело ими воспользовался и быстро достиг громадных результатов. Я не мог бы поручиться, что он был любим войсками, но его глубоко уважали и ценили, он пользовался влиянием, которое было, пожалуй, не меньше влияния Главкома. Когда левые подняли шум вокруг произведенного по его приказанию расстрела одного из военных, совершившего тяжкое нарушение служебного долга, то ни в военной среде, ни в кругах беженства эта шумиха не произвела никакого впечатления. Годы гражданской войны произвели громадный перелом в психике русских людей; требования к выполнению закона и долга стали понятны и не заслонялись слюнвявой маниловщиной дореволюционного периода. Люди, перед глазами коих прошел процесс разложения дисциплины старой армии, которые видели послед-

ствия падения чувства долга и дисциплины в период гражданской войны, не пришли в ужас от сурового возмездия, напротив, поняли, что среди нас, беженцев, есть власть, которая сумеет поддержать порядок и уважение к закону. Русская масса, измученная и отчаявшаяся, не только не отшатнулась от командного состава, но невольно льнула к армии и Главнокомандующему как единственной в этот момент русской организованной силе.

В русском посольстве, где находилась тогда ячейка гражданской власти, стали собираться политические и общественные деятели старого времени, тут были члены законодательных палат, земцы и земгорцы, торговопромышленники и краснокрестовцы. Первым образовался парламентский комитет по примеру Парижа, где таковая организация была создана по почину Гучкова. При создании нашего комитета у нас произошел печальный инцидент. На учредительное заседание прибыли почти все бывшие в Константинополе члены Гос. Дум и Гос. Совета, в числе последних Стишинский. Тогда левые кадеты подняли шум и протестовали против участия членов Гос. Совета по назначению. Было ясно, что это продолжение травли Стишинского, который и поспешил ретироваться. Так как другой работы, кроме прений по организации комитета, придумать не могли, то начали обсуждать идею о необходимости подкрепить авторитет организации Врангеля путем создания около него объединения всех русских организаций. Это объединение должно было составить нечто подобное парламенту беженства для обсуждения всякого рода мероприятий по обслуживанию нужд беженства и по вопросам

финансового и политического характера. По существу такая организация могла только связать Врангеля и его аппарат, не давая ему взамен ничего существенного, ибо моральное и политическое значение константинопольского беженства было в глазах иностранцев почти равно нулю. Среди русской эмиграции Константинополь являлся как бы глухой провинцией, на которую эмигранты Парижа и Берлина смотрели свысока. Сам Врангель все свои силы и средства сосредоточил на заботах о кадрах армии, относясь к гражданскому беженству и военным, перешедшим на беженское положение, полупренебрежительно. Он считал, что никаких моральных обязательств по отношению к этим людям у него не остается с момента, когда они съехали на берег, он свою задачу этим считал уже выполненной.

Иначе смотрело на положение дел беженство, оно бедствовало и искало помощи, хотя бы в ущерб армии. Отсюда несомненно, что участие беженского парламента в расходовании остатков средств, даже простой контроль над этим расходованием, являлись орудием беженства для защиты своих интересов в ущерб армии. Тем не менее, Врангель, на которого все время давили союзники и который был смущен появлением в Париже враждебных ему и армии организаций, согласился с основной идеей создания представительного органа беженства для участия в управлении беженской частью и в расходовании сумм.

Сам я не принимал участия в этой кухне, во-первых, потому, что не верил в успех начинания, не видел его целесообразности и, во-вторых, я все был еще одним из чинов вранге-

левской организации, хотя уже и решил уйти при первой возможности. Все же приходилось внимательно следить за течением дела. Однажды к Врангелю отправилась депутация общественников, когда-то с ним дружно работавших, а теперь смотревших на то, какой ветер дует из Парижа. Я на этом заседании не присутствовал и только дня через два узнал, что произошел резкий обмен мыслей и выражений, в результате чего получился полный провал начинания. В это время кадеты определенно говорили, что проектированная задача имела смысл, пока Врангель был властью на своей территории, теперь она запоздала и их не интересует.

Врангель, проникшись мыслью о пользе представительного органа, упрямо стоял на своем и пытался создать что-либо помимо кадет, а может быть, и против них. Сначала он хотел противопоставить левым парламентский комитет, но скоро оказалось, что эта организация за малочисленностью своего состава, который притом постоянно уменьшался отъездом многих бывших членов законодательных палат, не может играть крупной общественной роли.

Тогда он решил создать общественную организацию из дружественных ему элементов, в состав которой должны были входить как представители разных организаций, так и лица по его назначению. Когда разрыв с левою частью общественности стал совершившимся фактом, эта мысль была осуществлена и нашла свое вопло-

щение в так называемом "Русском совете"*.
Появление этой организации было встречено враждебно со стороны всей той части общественности, которая солидаризировалась с Милюковым. Первым, начавшим борьбу против идеи Русского Совета, был председатель Городского Союза Юренев. Об этом деятеле у меня сохранилось мало приятных воспоминаний. В первый раз я увидел его в эпоху Государственного Сопещения в Москве летом 1917 года, когда он был министром у Керенского, затем встретил на юге при Деникине, когда Астров и Федоров** хотели провести его в министры путей сообщения. Зная, что он непримиримый левый кадет, который всегда тянул на сближение с эсэров, и является послушным орудием закулисных левых влияний, правое крыло Особого Сопещения сделало всё возможное, чтобы помешать этому назначению. Была предложена закрытая баллотировка кандидата в министры, которая привела к его провалу. С тех пор он состоял главою Городского Союза, получал щедрую поддержку из средств Главного Командования, но, видимо, был враждебен последнему. Он первый начал вести борьбу против начинания Врангеля и имел успех. Все левое крыло отшатнулось, это отрицательное отношение перекинулось за пределы Константинополя и быстро привело начинание к моральному провалу. Хотя Русский Совет пополнился представителями цензового земства и

* См. прим. 3 к предисловию публикатора. – Ред.

** Лидеры Национального Центра (кадетов) в Особом Сопещании ген. Деникина.

других организаций правого и националистического характера, в том числе и из Парижа, но все же он остался одиноким, а поэтому не мог претендовать на представительство русской эмиграции. Когда Врангель расформировал южнорусское правительство и попытался создать на его месте небольшой деловой аппарат, то от старой организации оставались еще некоторое время военное представительство в Константинополе и дипломатический представитель в лице Нератова.

Отношения между военным и дипломатическим представителями были давно ненормальны, причем ген. Лукомский, человек очень властный по натуре, стремился многое делать сам из области, принадлежавшей скорее компетенции Нератова. Происходили трения, в результате которых еще в то время, когда мы находились в Севастополе, было решено переформировать представительство в Константинополе, причем Лукомский увольнялся с занимаемого им поста. Он был вызван в Севастополь, причем, видимо, это было предметом его разговора с Кривошеиным. Вскоре после того мы проиграли решительную битву и приступили к эвакуации. Решение об упразднении военного представительства не было еще приведено в исполнение, и Лукомскому пришлось нас встречать и принимать. В течение довольно продолжительного времени нахождения в Константинополе он успел завязать кое-какие отношения с представителями Антанты и потому мог на первых порах принести пользу. Поэтому при общем расформировании правительственного аппарата эта мера не коснулась его отдела. Впоследствии в погоне главным образом за экономией Вран-

гель решил все же ликвидировать аппарат Лукомского, которому был дан срок до 15 декабря, чтобы кончить дела и отчетность. Мне было очень грустно с ним расстаться, за время белого движения мы сработались и близко сошлись. Но делать было нечего, пришлось принять от него дела и отчетность, которую он сдал в порядке. В то время французы чинили всякие препятствия к въезду русских во Францию, но Лукомский получил разрешение немедленно. Мало того, французский адмирал устроил ему даровой переезд на одном из русских кораблей, отправлявшихся французами во Францию. Впоследствии, после долгих мытарств, Лукомский, бывший помощник военного министра Поливанова, затем первый генерал-квартирмейстер Государя, наконец начальник Штаба Верховного Главнокомандующего, игравший крупную роль в белом движении, оказался беженцем.

Наш дипломатический представитель Нератов был назначен на этот пост при Врангеле, поэтому с падением последнего его положение стало очень трудным. Он от природы не отличался решительностью характера, а тут совсем скис и заботился больше всего о том, чтобы не попасть в ложное положение. Поэтому нельзя было ждать от него большой помощи, но все же он был искренне предан армии и относился весьма корректно к Врангелю. Единственный из всех дипломатических представителей, он долгое время не прерывал связи с Врангелем, не становился в положение дружественного нейтралитета. Напротив, до самого моего отъезда из Константинополя мы считали его частью нашей организации, с которой он поддерживал

тесную связь. Конечно, когда создавались конфликты, он помочь не мог или не хотел, но он всегда в таких случаях стремился достичь компромисса, который состоял в том, что мы должны были всем и во всем уступать. Так было, когда англичане посадили в тюрьму суперарбитра по третейскому разбирательству с фирмой Иверсен. Но в тех случаях, когда он видел, что уступки с нашей стороны ждать нельзя, он начинал хлопотать и часто оказывал услуги нашему делу. Именно иностранцы, когда перед ними вставал вопрос о скандале крупного размера, не хотели доводить до открытого разрыва, шли на компромисс. Вот тут посредничество дипломатического представителя приносило много пользы. Он считался как бы нейтральным, не был с нами официально связан, его положение для иностранцев не было ясно, поэтому в спорах с нами они иногда прибегали к его посредничеству. Как иногда действовала на иностранных представителей решимость довести дело до скандала, показывает один случай.

После перемены главы французской военной власти в Константинополе распространилось известие, что французы в целях скорейшего распыления армии, которому якобы мешает Врангель, решили задержать последнего или по крайней мере изолировать его от армии и всего аппарата управления. Врангель немедленно переехал с "Лукулла" в посольство и там начал принимать меры обороны. Был вызван караул для его охраны, установлены пулеметы. Все это было сделано демонстративно, чуть ли не в присутствии адъютанта ген. Шарпи, который был по какому-то делу у Нератова. Конеч-

но, на другой день весь город знал, что приняты меры для охраны посольства и Главнокомандующего. В результате последовал обмен любезных фраз и кислых мин, о намерении изолировать Врангеля забыли, так как стало ясно, что выполнение этой меры не может обойтись без кровопролития, которое, конечно, повело бы к печальным для нас результатам, но и вызвало бы грандиозный скандал с запросом в палате и большими неприятностями для местного начальства. Конечно, бряцать оружием нам было опасно и к этой мере приходилось прибегать только в случаях исключительных, когда все равно терять было уже нечего. Поэтому все внимание сосредотачивалось на переговорах, причем мы пользовались поддержкой адмирала французской эскадры, который как солдат относился к нам с величайшим сочувствием и помогал чем и как мог.

Иным было отношение ген. Шарпи. Это был тип генерала, носившего у нас в старое время наименование "бурбон". Грубый и резкий с людьми, судьба которых зависела от него, он притом не любил нашего брата, русского, относился пренебрежительно и свысока. Мне не приходилось иметь с ним каких-либо сношений, хотя последствия его отношения к нам испытывал в полной мере. Между прочим, когда французы решили конфисковать все имущество организации Врангеля, они приказали сдать им грузы, находившиеся на судах. Была образована комиссия по передаче имущества, но по приказу французской власти их приемщики отказались давать какие-либо квитанции за сдаваемые им товары. Мои представления остались тщетны, пришлось подчиниться. Французы имели при

этом как бы обиженный вид, они говорили: "Что вы беспокоитесь, мы имеем свою прекрасно поставленную отчетность, где все принятое от вас заносится на приход и впоследствии может быть всегда приведено в известность". Не знаю, какова была их отчетность, но факт тот, что вся она в один прекрасный день вместе со всеми бумагами интендантства сгорела до последнего лоскутка.

Со штабом Шарпи были натянутые отношения, особенно с Шатиловым. Последний написал какое-то письмо ген. Шарпи на французском языке, а так как он был не особенно силен в выражениях вежливости, употребляемых французами в официальной переписке, то ген. Шарпи увидел в какой-то фразе недостаток почтительности к нему как начальнику всех оккупационных французских войск и настолько обиделся, что прекратил всякие сношения с Шатиловым, заявил, что не будет отвечать на письма и бумаги, подписанные последним. С самим Врангелем поддерживались приличные отношения, благодаря влиянию главным образом начальника морских сил Франции, адм. Деминиля, который был женат на русской, насколько мне не изменяет память, и во всяком случае относился к нам с величайшим расположением. Его влиянию мы обязаны очень много, особенно в первый период нашего пребывания в Константинополе. Затем возобладало влияние, идущее из Парижа, где определенно решили вести на ликвидацию как армии, так особенно аппарата Врангеля.

Собравшиеся в это время в Париже члены Учредительного Собрания имели большое моральное влияние на левые французские политические

круги. Последние считали, что выборы в учредительное собрание явно указывают на настроение русского народа, якобы насквозь пропитанного социалистическими лозунгами, они видели в эсэрах будущих наследников большевистской власти и потому внимательно прислушивались к их голосу. Особенно это стало заметно после образования Земгора с кн. Львовым во главе, когда эта компания стала казаться французам выходом из положения. Французы наивно поверили, что кн. Львов со товарищи действительно может найти способы и средства к тому, чтобы снять с французского пайка десятки тысяч людей. Они тотчас уведомили своих представителей в Константинополе, что в Париже образовалось такое благодетельное учреждение, которое называется "Земство" и которое обещает кормить армию и беженцев и тем избавить французскую казну от громадных расходов. Конечно, мы тотчас учли грозящую армии опасность, ибо понимали, что Земгор никаких собственных средств не имеет и иметь не будет, что в лучшем случае он прибегнет к рукам остатки казенных средств, которых хватит на короткое время, а между тем это обстоятельство даст французам благоприятный предлог передать Земгору обязанность и долг заботиться об армии и беженцах, освободившись от неосторожно принятых на себя моральных обязательств. Когда же остатки русских денег будут прожиты, армия окажется предоставленной самой себе без какой-либо помощи со стороны, ибо земгорцы рассеются, а французы тогда уже помогать не будут. В это время пришло известие, что в Париже наложен секвестр на остатки казенных сумм

врангелевского правительства, а потому было ясно, что эти денежные средства пропали и для Земгора. Действительно, в Париже скоро убедились, что Земгор крупных денег собрать не может, а потому охладели к этой комбинации. Это сказалось в Константинополе, где перестали говорить о Земгоре, зато с большим рвением начали принимать меры к распылению кадров. Последнее делалось подчас грубо, в обидной для национального самолюбия форме. Местные начальники не отличались избытком такта, они умели наступать на любимую мозоль, проявляли высокомерный тон. Это обстоятельство чувствовалось очень остро людьми, находившимися в столь тяжелой обстановке, вызывало чувство глубокой обиды, едва скрываемого раздражения. Не раз приходилось слышать гневные речи, видеть полные злобы взоры. Люди забывали, что только благодаря гуманности французского правительства, только благодаря рыцарству его политики мы вообще благополучно высадились в Босфоре, что, не дай французы нам покровительства своего флага, нас просто могли не пустить в пролив, что наконец только благодаря их помощи мы не перемерли в первый же месяц от голода и жажды. Все это забывалось, зато остро чувствовалось уменьшение и без того голодного пайка, сопровождавшееся упреком, что де вы дармоеды, сидите на шее французской казны. В лагерях лихорадочно высчитывали, на какую сумму французы секвестировали у нас имущество, сколько стоят переданные им суда. Начинались разговоры на тему: мы де французов спасли в 1914 году вторжением в Восточную Пруссию, причем последовавшее наше по-

зорное поражение, бывшее результатом плохого командования, ставилось чуть ли не в заслугу перед французами. Немудрено, что франкофильство стало не в моде. Мне передавали, что перепившиеся люди начинали говорить языком, не совместимым с чувством благодарности и уважения, которого заслуживала, в общем, французская политика по отношению к белым врангелевского периода.

Сильнее, чем физические лишения, давила нас полная политическая и юридическая бесправность. Никто не был гарантирован от произвола любого агента власти каждой из держав Антанты. Даже турки, которые сами находились под режимом произвола оккупационных властей, по отношению к нам руководствовались правом сильного, отрицая наши права и ставя нас на положение бесправных пришельцев. Все это страшно нервировало людей, заставляло лихорадочно искать выхода. Одни находили его в том, что стремились выехать поскорее из страны лишений и произвола, каким стал нам казаться Константинополь. Другие, которые не надеялись на возможность выбраться или не желали разрывать связей со своими частями, жались теснее друг к другу и все вместе к Врангелю. Одновременно усиливалась среди второй группы взаимная связь, и у всех чувство ксенофобии и обостренного национализма.

Таким путем закладывался фундамент морального воспитания и обновления духа большой группы русских людей, пронесшей на своих плечах всю тяжесть междоусобной войны, испытавшей конечное поражение и изгнание, но не растерявшей духа, оставшейся морально целой, не сломленной несчастиями. Она закалилась в

испытаниях и на ней оправдались слова поэта: тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.

Судьба помогла Врангелю выковать моральную силу тридцати тысяч русских людей. Он и его сотрудники и помощники не опустили рук, когда, казалось, все было кончено, когда, казалось, их роль в истории была уже сыграна. Они сумели использовать обстоятельства, чтобы сохранить будущей России кадр людей, редкий по моральным качествам, несколько десятков тысяч русской молодежи, закаленных и просветленных борьбой за родину и сплоченных общими несчастьями и переживаниями. Эта превосходная школа, которую дали Галлиполи и Лемнос, не пропала даром. Как бы мы ни оценивали роль Белого движения и участия в нем Врангеля, нельзя не признать, что его заслуга в эпоху константинопольского сидения громадна. Его заботам и усилиям русский народ обязан спасением десятков тысяч лучшей части нашей молодежи, он воспитал ее в лучших традициях патриотизма и самопожертвования...

Такова в общих чертах была обстановка, в которой нам приходилось работать в течение первых месяцев константинопольского периода. Жизнь была полна мелких забот, неприятных столкновений, ежедневной борьбы за бытие армии. Всем было тяжело, особенно тем, кто имел какие-либо отношения к денежным расчетам с иностранцами. Многочисленные кредиторы, из коих многие были добросовестные, с каждым протекавшим днем все более отчаивались получить когда-либо свои деньги. Они становились, естественно, все более назойливыми и требовательными. Конфискация товаров французами и реквизиция ими последних остатков

сумм Врангеля во Франции привела всю эту массу людей в полное отчаяние. Одни из них грозили применить меры принуждения при помощи высоких комиссаров, другие просто угрожали побоями и даже покушениями на должностных лиц, если им не будут оплачены деньги. На моего помощника, старшего чина контроля в ликвидационной комиссии, дважды были произведены нападения, причем он был сильно побит. Моя жена жила постоянно в страхе за мою судьбу, так как мы получали предупреждения о предстоящем убийстве, если деньги не будут выплачены кредиторам. Но самое тягостное было то, что высокие комиссары, главным образом английский, действительно начали вмешиваться в дела расчетов с кредиторами и настойчиво требовали уплаты их подданным, из коих большинство было просто подставными лицами, прикрывавшими претензии лиц других национальностей. При этом давление направлялось в первую голову против высших чинов Врангелевского аппарата.

Из всех этих чинов самое трудное положение создалось для меня. Я был в составе правительства Деникина, затем Государственным Контролером у Врангеля, наконец главою ликвидационной комиссии в Константинополе. Естественно, наибольшее внимание было направлено на меня, мне пришлось стать мишенью наиболее страстных нападков. А так как мы были в Константинополе в сущности беззащитны, то приходилось подумать, как бы унести ноги. Случай помог мне в этом. Еще в первых числах декабря по представлению адм. Бубунова, который в тот момент заведовал отделом торгового мореплавания, Врангель назначил меня,

между прочим, представителем контроля в Добровольный Флот. В январе правление последнего переехало в Париж. Это обстоятельство дало мне возможность обратиться к Врангелю с просьбой отпустить меня из Константинополя, откомандировав в Париж. Врангель понимал трудность моего положения в Константинополе, знал, что не может защитить меня, если английскому комиссару заблагорассудится приказать посадить меня в долговое отделение.

Но в Париже должен был образоваться так называемый Деловой Комитет, который должен был ликвидировать кое-какие остатки имущества армии и собрать остатки денежных средств, еще не реквизированных французами. Представителем интересов Главнокомандующего в этом Комитете предположено было назначить главу Контроля, то есть меня. Всё это дало возможность выехать из Константинополя, пребывание в котором становилось для меня невыносимым. В феврале 1921 я получил визу в Париж и тотчас испросил разрешение сдать должность моему помощнику. Врангель отпустил меня в Париж, хотя только временно. Однако в самый день отъезда, когда все визы на выезд были уже получены, в консульство явился главный чин английской полиции с нескрываемым намерением помешать мне уехать. Он говорил Пильцу, который был в тот момент заместителем начальника финансовой части, что английские подданные настаивают на том, что меня нельзя выпускать из Константинополя до тех пор, пока расчеты правительственного аппарата Врангеля с английскими кредиторами не будут закончены. Тем не менее, видимо, прямого распоряжения арестовать меня еще от-

дано не было, так как все ограничилось одними разговорами. Когда я вечером отправился на вокзал, я не был уверен, что в последний момент меня не задержат. Однако никаких мер принято не было, и я благополучно уехал.

Уже впоследствии я узнал, что соответствующее приказание арестовать или задержать меня было отдано на другой день после моего отъезда, когда я был уже вне досягаемости местных властей.

Так кончилась моя работа в составе аппарата Врангеля.



Виктор АКСЮЧИЦ

Социализм и реальность

★

Чрезвычайно мощным фактором, оказывающим влияние на ход современной истории, является идеология социализма. Без осознания смысла этой идеологии невозможно судить о состоянии человека и общества в сегодняшней России. То, как сама идеология характеризует свои цели, служит для сокрытия ее сущности. Понадобился страшный опыт последних десятилетий, чтобы отдельные пророческие высказывания о природе социализма (Достоевский) обрели плоть, чтобы стала очевидной ложь социализма. Книга И. Р. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории" впервые анализирует корни социализма. Вот ее выводы:

"а) Идея гибели человечества – не смерти определенных людей, но именно конца всего человеческого рода – находит отклик в психике человека. Она возбуждает и притягивает людей, хотя и с разной интенсивностью, в зависимости от характера эпохи и индивидуальности человека. Масштабы воздействия этой идеи заставляют предположить, что в большей или меньшей мере ему подвержен каждый человек; здесь проявляется универсальное свойство человеческой психики;

б) эта идея проявляется не только в индивидуальных переживаниях хотя бы и большого числа отдельных личностей – она способна объединить людей (в отличие, например, от бреда), т. е. является социальной силой. Стремление к самоуничтожению можно рассматривать как элемент психики *всего человечества*;

в) социализм – это один из аспектов стремления человечества к самоуничтожению, к Ничто, а именно его проявление в области организации общества...

По-видимому, социализм является постоянным фактором человеческой истории, по крайней мере, в период существования государства... Мы должны признать социализм одной из самых мощных и универсальных сил, действующих в том поле, в котором разыгрывается история...

Смерть человечества является не только мыслимым результатом торжества социализма – она составляет цель социализма” (И. Шафаревич).

Итак, влечение человечества к самоуничтожению, к Небытию, проявляющееся в социальной истории, оказывается, согласно И. Шафаревичу, “последней тайной” социализма.

В настоящий момент сама жизнь потребовала философского анализа: в чем онтологические корни небытийности идеологии, какие глубинные пласты духовной жизни человека порождают стремление, зачеркивающее весь смысл существования, какие реальности в духовной культуре, какие повороты в духовной судьбе человечества являются непосредственной причиной формирования идеологии всеуничтожения?

Необходима работа по осмыслению метафизической сути социализма, вычленению онтологических реальностей его как духовных истоков, так и феноменов. Требуется глубокий и разносторонний опыт исследования, который в этой области еще не осуществлен.

Перечисленные проблемы требуют особого рассмотрения, и в данной работе они будут только затронуты.

И объективные процессы, и книга И. Шафаревича показывают, что проблема социализма может быть разрешена только в духовном плане и, прежде всего, христиански. Ибо что, как не христианство, целостно ставит вопрос о жизни и смерти человека. Сегодня, как никогда, жизненно важен христианский ответ на эти вопросы. В этой работе, безусловно, я не претендую на полноту такого ответа, но все же попытаюсь рассмотреть некоторые аспекты идеологии социализма с позиции христианского жизнеощущения.

Книга И. Шафаревича драгоценна, кроме всего прочего, и тем, что в ней устами крупного ученого добро и зло *названы своими именами*, вопреки господствующей "мудрости" позитивизма, видящего предметы ложно-усложненными и обесмысленными бесконечной пляской сторон и качеств.

Наше время потеряло элементарные метафизические ориентиры и моральные нормы. Позитивистский дух новоевропейской цивилизации разменял на мнимую сложность первичные духовные скрепы — фундамент личности. Современное сознание наполнено фантомами, образами, порожденными незнанием, подменой и жаждой суеверного преклонения. Теперь, как никогда,

необходимо восстановить на более высоком уровне исходные и предельные ориентиры добра и зла. Я воспринимаю фразу Достоевского "в мире Дьявол с Богом борется..." не метафорически, а реалистически. Это та простота, в которой укоренено все сложное хитросплетение мировых событий. В мире есть Добро и Зло, Свет и Тьма, "и Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его". Мы – жители небес, и в этом мире "странники и пришельцы". Человек – посланец Божий в миру, сотворец Божий, и он обязан ощущать себя, прежде всего, трансцендентным существом, имеющим права и обязанности перед Вечностью, а не перед прахом земли, и абсолютную мораль.

В заглавие вынесено слово "реальность". Реальность сама по себе – это "полнота бытия", что можно отнести только к Самому Богу, Бог и есть Первореальность. Божественный акт творения есть утверждение полноты бытия. В мире тем больше реальности, чем более в нем полноты Жизни, Любви, Добра, Красоты, Истины, Свободы.

Но в мире есть силы, противостоящие творческому акту Бога. И силы эти персонифицируются в лице того, кого мы называем дьяволом, сатаной. Зло имеет множество ипостасей и множество наименований, но суть его одна – противостояние божественному акту творения, разрушение полноты бытия, умаление реальности в мире. Другими словами, зло есть, прежде всего, антиреальность, небытие. Все силы, стремящиеся опрокинуть мир в небытие, есть силы зла ("Вы есть отца вашего дьявола").

Зло в мир входит как результат человеческого греха. И потому зло всегда связано с

человеческим выбором и поступком. Человек же — существо, прежде всего, духовное. Поэтому зло является в мир как некая лжедуховность. В духовном мире существует теневая сторона ее, скопище противодуховных сил. Питаемые ложным человеческим выбором, эти силы растут и стремятся, как раковая опухоль, переродить всю ткань жизни. Каждое новое поколение людей, входя в жизнь, вместе с живительными ее соками вдыхает и накопившийся ядовитый осадок. Чтобы кормиться здоровой пищей, человеку необходимо опознать ядовитые семена и отделить их.

И вот здесь-то единственным источником силы может быть Вера, Надежда и Любовь в сердце, ясность Истины в разуме. Почему истинное рассмотрение социализма и может быть только христианским.

Итак, "социализм и реальность" есть противопоставление реальности и одной из ипостасей зла. Метафизические черты этого конфликта я и попытаюсь описать.

В первой главе рассматривается проблема укорененности зла социализма в положительном, казалось бы, стремлении людей к справедливому и счастливому устройению земной жизни. Именно здесь и скрыт колдовской корень социализма, перекрашивающий благой порыв в сатанинскую одержимость. Социализм как ложь, утверждаемая во имя добра.

Во второй главе рассматривается небытийная, антихристианская сущность социализма. Социализм существует, прежде всего, в виде утопического идейного течения, которое то там, то здесь овладевает умами и пытается воплотиться в истории. Поэтому необходимо

рассматривать социализм, прежде всего, как идеологию, предварительно выяснив причины и формы идеологии как таковой. Далее проясняется, как по степени воплощения небытийности в этом "явлении мировой истории" можно выделить различные лики или формы, которые я называю традиционными словами, но уточняю их определения: коммунизм (чисто небытийная устремленность); социализм (прельщение фикциями социальных благ); фашизм (абсолютизация, а потому изолгание положительных реальностей — нации и государства).

И, наконец, в третьей главе рассматривается глобальный конфликт: идеология социализма и исторический организм России. Идеология социальной небытийности возвращена в западноевропейской культуре. Процесс нарастания Идеологии сопровождается выработкой иммунитета против этой заразы, и поэтому в Европе идеология не получает тотального воплощения. (Европейской культуре, скорее, грозит медленное разложение, если не остановится прогрессирующее падение ее нравственных критериев.) Россия же оказывается беззащитной перед нашествием небытийной идеологии, т. к. в ней отсутствовали исторически вырабатываемые "имунные тела".

Идеология внедряется в душу России в поворотный момент ее истории, который всегда обнажает национальную душу и плоть и делает их менее защищенными. В этот период духовного брожения и поисков Идеология вбирает все безжизненные и антибытийные силы нации, все дно ее жизни. Ею пленяются души людей, оторванные и отрывающиеся от почвы народного бытия, группы и сословия наименее укорененные

в историческом национальном теле. Роковое стечение исторических условий и отсутствие в решительный момент твердого религиозно-нравственного идеала, способного объединить нацию и не поддаться идеологическому заражению, — обрушивают на Россию кошмар коммунизма.

В конечном итоге, мощь социализма направлена на разрушение личности как образа и подобия Божия в человеке и личностного начала в мире как оси бытия. Именно сейчас, как никогда, глубоко внедрены в нас "трихины" Идеологии. Хотя Идеология и сложилась в объективно существующую реальность, но действует она в мире только через человеческий выбор: "Спасение зависит от нашей активности" (священник Дмитрий Дудко).

ГЛАВА I

Сатана - князь мира сего

"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше"

(Мф. 6, 19-21).

Смысл христианской заповеди жизни в том, что на земле человек может истинно существовать только в том случае, если будет

соизмерять свои обязанности с вечностью, а не с прахом земли. Вечная душа изначально имеет измерения и обязанности вечные, но в земной юдоли человеку невероятно трудно вспомнить и сохранить полномочия своего небесного первородства. Весь смысл человеческой жизни и состоит в том, чтобы пробудить в себе память вечности и взрастить в себе те метафизические начала творческого духа и нравственного самостояния, которые дают единственную твердую опору в жизни. Мы – жители небес и посланники Божии в миру, все же мирское противостоит нашему вечному назначению. Мы сущностью своей не от мира сего, но призваны воплотить замысел Божий о бытии в мире сем. В этом диалектический смысл человеческой жизни, и в этом – крестонесение его мировой судьбы. С этого первичного выбора начинается духовное самоопределение человека – чему служить: Богу или миру, князем которого является Сатана. И в решении этого вопроса состоит итоговое свершение человеческой судьбы. Причем в *онтологическом* самоопределении невозможен компромисс, невозможно уравнивание и примирение двух полярных начал – неба и земли:

”Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?.. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам” (Мф. 6, 24–25, 33).

Человек должен жить в мире, но по законам не мира сего, быть на земле, но как представитель и проводник Царства Небесного. Мировые религии являются формами поисков человечеством своей неземной миссии. Это — различные пути, которые сойдутся в одном месте — у Престола Божия. Все же атеистические движения во все века направлены в противоположную сторону: обездушить человеческую природу, лишить человека его небесного достоинства и окончательно поработить его тем или иным мирским стихиям, т. е. силам князя мира сего. Все в этой жизни сводится, в конечном итоге, к пути к Богу или пути к дьяволу.

Чтобы понять истинную цель социализма, необходимо с христианских позиций проанализировать его явно провозглашаемые идеалы. Это обнажит скрытую доминанту социализма, вектор которой направлен на эзотерическую цель — небытие.

Итак, социализм явно провозглашает в качестве цели человеческого общества и истории — борьбу за справедливое общественное устройство. Но не в этом специфика социализма, ибо многие культурно-общественные и религиозные движения обличали царящее в мире социальное неравенство и предлагали тот или иной образ справедливого общества. Социализм отличается прежде всего приземленная трактовка проблемы социальности и тотальная гипертрофия этой проблемы: все в жизни должно быть подчинено борьбе за "счастливое будущее всего человечества". Эта идея заимствована в иудейской эсхатологии, но поставлена, как и всё в социализме, с ног на голову, чтобы эксплуатировать присущее человеку

извечное стремление к установлению Царства Божьего на земле. От великой религиозной идеи остаются профанированные обломки, но именно они провозглашаются в качестве конечной цели мирового бытия, жестко диктующей формы теперешней жизни. Все, что человечество до сих пор оценивало как высшие достижения и ценности: вечность человеческой души, религиозная ценность жизни, онтологичность нравственности, самооценность духовной культуры, высший смысл творчества, — вся духовная жизнь объявляется эфемерной "надстройкой" над "базисом" железной поступи человечества к материальному процветанию. И это первая и основная жертва, которую требует от человечества социализм и из которой следует множество других.

Следующей глобальной жертвой во имя социалистического рая на земле оказывается практически все историческое человечество. Все поколения живших и живущих принесены в жертву "светлому будущему", ибо вся их жизнь должна быть подчинена тому, что их *никоим образом* не касается. Поскольку вечной жизни нет, то каждый человек должен трудиться в поте лица не во имя вечности или своего будущего, но лишь для материального блага неких далеких поколений. Эта установка героического пессимизма, утверждаемая теорией "научного коммунизма", окончательно обесмысливается основным постулатом "диалектического материализма", гласящим, что *всё* в мире относительно и что абсолютно всё в нем и само мироздание в целом, — абсолютно смертны. Если даже будут такие поколения, которые смогут собрать жатву на почве, уна-

Затем я буду шагать по его развалинам
И, давая силу действия моим словам,
Я буду чувствовать себя равным создателю”.

(стихи молодого К. Маркса)

Будущий гений революций с юности всеобщее уничтожение мыслил как полноту жизни. Его титаническая одержимость порождает ”самую передовую в мире теорию” разрушения.

Но людям трудно непосредственно взглянуть в глаза смерти, и поэтому явный смысл этих пророчеств не хотят слышать. К тому же открытый призыв к смерти не может быть побудительной силой к движению. Для мобилизации социальных энергий авторами социализма инспирируются привлекательные фикции социального блага. Такой смысл приобретает идея социализма, если ее оценить в свете реальной конечной цели идеологии. И это есть историческое раскрытие метафизической истины: если человек целиком сосредотачивает всю свою энергию на достижении только частичных целей, вне соотношения с единым смыслом бытия, он не достигает никакой цели. Человек – цельное духовное существо, и, отказываясь от своей целостности, он перестает быть человеком. Не дано нам устроиться на земле (”где моль и ржа истребляют...”) чисто земными средствами. Предавая себя и Бога, мы попадаем в рабство силам ”мироправителей тьмы века сего”. И по законам мирским, т. е. сатанинским, – вся наша энергия обращается на службу *небытию*, злу как таковому.

Все дела и все идеалы социализма обречены служить только *небытию* именно в силу изна-

чального и принципиального отказа от Высшего Смысла бытия. Таким образом, в свете христианства обнажается темная бездна социализма. И истинный облик социализма можно понять только по отношению к христианскому стержню мировой истории. В Вавилоне, Китае, у ацтеков, т. е. до Христа и без Христа, социалистические попытки *еще не были проявлением мирового зла*. Это – трагический путь человечества во тьме к свету. Но когда Свет Истины воссиял в мире, эти устремления становятся уже богоборческими. Социализм становится радикальнейшей ересью в христианстве.

Отказ от онтологии бытия приводит к превращению Абсолютной Истины в истину низшего порядка: идею справедливого, то есть социалистического, общественного устройства. Тем самым критерий истины снижается и профанируется, его ищут в реальности наличного мира, к тому же сводимого только к социальному ее аспекту. Вопрос же о критериях социальной правды – один из самых темных в социализме. Обычно его видят в соответствии человеку "как он есть", то есть природному человеку. Сама же эта природа понимается крайне приземленно. Так происходит вторая подмена, в результате чего формируются низменные идеалы, требующие агрессивного уравнивания всего и вся по своему подобию. Бессмысленностью и принципиальной примитивностью взгляда на мир и на человека социализм обречен на практике безумными экспериментами доказывать свое право на существование.

Отрицание онтологичности истины приводит и к тому, что социализм главной своей целью считает не столько творческое создание ново-

го, сколько дурно-бесконечное *переустройство* общества и человека, путем механической перегруппировки, перераспределения старого. У социализма нет и не может быть собственной *позитивной* программы. Диалектически социалисты высокомерно утверждают, что они-де чужды идее механического накопления, у них-то возникает новое качество. И здесь та же незаконная спекуляция на чужих идеях, подмена. Это "качество" столь же неподлинно, как неподлинна материалистическая диалектика (словосочетание само по себе абсурдное). Естественно, что такого рода "творчество" порождает только небытийность. Социализм все потребляет, перемалывает всякий организм и ничего не производит и не может произвести. И это есть его онтологическое свойство.

Объявляя все высшие духовные ценности фиктивными или, по меньшей мере, второстепенными, социализм провозглашает "наиреальнейшую" и непосредственную цель: "сначала накормите людей, сделайте их материально обеспеченными, а потом будем думать о решении духовных проблем". Эта приземленность следует из основных постулатов социализма: "истина - относительна", "материя первична - сознание же вторично", "приоритет экономического базиса над культурной надстройкой"... Но без духовных ценностей разлагается и жизненная эмпирия. Антидуховная идеология губит и материю. Поэтому-то нигде в мире не прибавилось хлеба, *благодаря* социализму. И никакому социализму еще не удалось накормить людей. Парадоксальным образом в любой стране становится тем меньше материальных благ, чем больше в ней социализма, и наоборот.

О какой же закономерности говорит этот упрямый факт? Полная сосредоточенность на материальной стороне жизни приводит к тому, что она из средства духовного роста становится самоцелью. Первым следствием этого является подчинение, отрицание, а затем уничтожение духовной жизни. Но разрушение духовной конституции человека ведет к разрушению и материального уклада жизни, ибо второе есть только отражение состояния первого. Отказываясь от истинных духовных ориентиров и от понимания сути вещей, человек обесмысливает и материальную деятельность. Труд такого обездушенного человека не может быть производительным и ведет к прогрессирующему разрушению природы естественной и природы искусственной — материальной цивилизации. Всякие виды экономического благополучия и хозяйственного благосостояния покоятся в странах социализма только на принципах, противоположных социализму ("НЭП", "черный рынок", "поправочная экономика").

Вообще сама материальная сторона жизни интересует идеологические силы *только* как материальная мощь, требуемая для экспансии социализма. Все производство жестко централизуется и тотально подчиняется задачам идеологической милитаризации. Поэтому даже частичные хозяйственные успехи при социализме никогда не ведут и не могут вести к тому, чтобы "накормить людей", повысить их жизненный уровень. Это же раскрывает и единственную причину "успехов" социалистической экономики, которые возможны только на отдельных участках милитаризации и только за счет насильственного ограбления и тотального

истребления людских и природных ресурсов. Всякая идеологическая экономика покоится на трех китах: расхищение природных богатств, рабский труд населения, воровство или скупка (за счет тех же природных ресурсов) современной технологии (по принципу той самой ленинской "веревки, которую продадут нам капиталисты, чтобы мы их на ней повесили"). Создание бронированного кулака для мировой экспансии и диктует тотальную централизацию жизни, порабощение людей и беспрецедентное уничтожение "человеческого материала", непригодного для "основной задачи коммунистического строительства".

Таким образом, полная сосредоточенность на целях материальной жизни приводит по законам мира сего к разрушению самой этой жизни. Фиктивная цель, самоубийственные средства, иллюзорные благоприобретения – вот метафизическая формула социализма.

Никто не будет отрицать, что критика социальных пороков, содержащаяся в ряде положений социализма, – справедлива, если взять ее *абстрактно*. Но, во-первых, то, что делает эту критику справедливой, проистекает не из социализма, а из того, что ему прямо противоположно. И, во-вторых, социализм предлагает на место этой неправды еще большую и уже фундаментальную ложь.

Зло паразитирует в мире добра и является в маске добра. Социализм паразитирует на первоначальном импульсе к истине, провоцирует сосредоточенность на частной истине за счет отпадения от полноты ее. Всякая попытка утверждения всей истины *немедленно и здесь* – уже есть ложь. И трагедия в том, что эта

подмена малозаметна: "сатана - отец лжи". Поднятое знамя истины проносится по земле и по векам, и во имя истины производится невиданное избиение ее. Социализм - это какофония, грохотание зла, в котором слышат истину о справедливом социальном устройстве. И вот уже Вл. Соловьев говорит о "правде социализма". Н. Бердяев о "персоналистическом социализме", об относительной правде и ценности марксизма. Но не было такого феномена в истории, в котором социалистическая истина была бы хоть как-то приближена к Истине (и это показано в книге И. Шафаревича). Важно не то, что социализм *провозглашает* идею справедливого социального устройства, а то, как он его *понимает* и какой путь избирает к достижению своих целей. И жрецы социализма всех пород и времен достаточно явно это провозглашали для тех, кто имел уши, чтобы услышать.

Но паразитирование на благородном пафосе установления социальной справедливости - почти беспроектная карта социализма. Многие не сумели разглядеть его инфернальную личину именно из-за того, что она скрыта маской защиты "униженных и оскорбленных". Так Н. Бердяев писал: "В сущности проблема социализма, перед которой стоит современный человек - проблема "хлеба" и социальной справедливости - элементарна и относительна... После осуществления элементарной правды социализма восстанут с особой остротой самые глубокие вопросы для человека и трагизм человеческой жизни станет особенно острым".

Соппротивление социализму резко ослабляется стремлением увидеть в нем зерно истины,

некую "правду социализма". Н. Бердяев писал: "Метафизика социализма в преобладающих формах совершенно ложна". Уже здесь нужно отметить интеллектуальную некритичность, ибо совершенно очевидно, что не только "в преобладающих", но *во всех существующих и, более того, во всех мыслимых формах социализма* метафизика его ложна, ибо в нем принципиально отрицается именно метафизичность истины: ее абсолютность, персоналистичность, религиозный источник и свободное происхождение.

Далее Н. Бердяев пишет: "Но социальная, экономическая сторона справедлива, есть элементарная справедливость. В этом смысле социализм есть социальная проекция христианского персонализма. Социализм не есть непременно коллективизм, социализм может быть персоналистическим, анти-коллективистическим. Только персоналистический социализм есть освобождение человека. Персоналистический социализм исходит из примата личности над обществом".

Но как мыслима при метафизической и духовной лжи социализма его социальная и экономическая справедливость? Другими словами, как можно представить себе истину, основанную на лжи? Всякую общественную справедливость можно основывать только на том, что в своей сущности (т. е. метафизически и духовно) истинно. Допущение возможности истины, построенной на лжи, является роковым заблуждением, имеющим огромные разрушительные последствия. И вся история социализма указывает на эту логическую ошибку.

Социализм есть стремление разрешить универсальные проблемы бытия, исходя из частич-

ного (ложно понятой социальности), христианство же универсально и провозглашает решение конкретных проблем, в том числе и социальных, через универсальные принципы бытия. Социализм не может быть социальной проекцией христианского персонализма, т. к. он основан на отрицании прежде всего личностного начала, а христианство есть Слово Живого Личного Бога. Социализм не может быть персоналистическим, потому что все его виды утверждают примат социальности над личностью и, в конечном итоге, уничтожение личностного начала. По определению, он может быть только коллективистическим, античеловеческим. Истина персонализма впервые полностью открывается миру в христианстве, в явлении Богочеловека, в воплощении Божественной личности в личности человеческой. В религии Христа предуказаны пути преображения в личность и пути оличествления общества. Поэтому связь социализма и христианского персонализма противоестественна и ложна.

"Современный вопрос" социализма только в том, что его беспримерная социальная несправедливость и ложь трагически ставят вопрос о христианской социальной правде. Как с христианской позиции можно было бы сформулировать принципы справедливого общества? Вот что об этом пишет русский христианский философ С. Л. Франк:

"Христианскому жизнечувствию и жизнепониманию присуще сознание коренной, «неслиянной» до конца мира и его чаемого последнего преображения неустранимой двойственности сфер бытия, в которой живет и к которой причастен христианин. В каких бы словах мы

ни сформулировали эту двойственность – как царство «небесное» и царство «земное», как внутреннюю жизнь с Богом или «во Христе» – и жизнь в «мире», как сферу «церкви» (в основном, мистическом смысле этого понятия) и сферу «мира», или как сферу «благодати» и сферу «закона», – сам факт этой двойственности и ее существенный смысл непосредственно понятен и очевиден...

Все человеческие реформы суть паллиативы, с устранением одних бедствий, особенно чувствительных в данный момент, обнаружатся другие бедствия, о которых люди сейчас не думают... (Христианин) будет склонен отдавать преимущество постепенным и частичным реформам перед всякого рода мнимо-спасительными переворотами, связанными с великими потрясениями. Именно в силу своего религиозного радикализма, именно в силу своей надмирной позиции, христианин будет в сфере социально-политических реформ умеренным и реалистом; в отношении всех мирских забот и планов он отдает предпочтение «здравому смыслу», основанной на жизненном опыте холодной мудрости перед всяким страстным энтузиазмом, рождающимся из слепой и ложной веры. И, с другой стороны, имея опыт духовной основы всей человеческой жизни, он всегда будет сознавать, что даже самая разумная и целесообразная реформа, т. е. организационная перемена внешних условий жизни, может быть подлинно плодотворной лишь в связи с внутренним, нравственным и духовным улучшением самих людей... Единственно, чему можно приписать универсальное значение в человеческой жизни, есть забота о внутреннем, духовном строе человеческой жизни... Он потому также отдает предпочтение постепенным реформам, связанным с перевоспитанием человека, с улучшением внутренних навыков его жизни, перед всякими поспешными, внезапными и радикальными переменами.

С точки зрения христианской веры и христианского жизнепонимания предпочтение имеет тот общественный строй или порядок, который в максимальной мере благоприятен развитию и укреплению свободного братско-любовного общения между людьми" (С. Л. Франк. "Проблема «христианского социализма»").

ГЛАВА II

Сатана - дух небытия

В чем сущность социализма? Какую реальность мы обозначаем этим словом? Является ли объем и содержание этого понятия неизменным или они исторически меняются?

Для ответа на эти вопросы необходимо, прежде всего, установить, когда появилась на исторической арене реальность, сознающая и называющая себя социализмом. Затем выявить ее существенные свойства и характеристики, ее имманентную динамику. Выявленный набор свойств и будет, вероятно, отражать сущность социализма.

Материалы для подобного анализа содержатся в работе "Социализм как явление мировой истории" И. Шафаревича. Судя по всему, социализм под собственным именем вышел на арену истории в учениях социалистов-утопистов. В "утопиях" идеи социализма достигают такой концентрации и развития, что можно говорить о некоем смыслообразующем единстве социальных утопий различных авторов и движений.

Это, в свою очередь, позволяет увидеть проявление типичных социалистических свойств

в различных сферах жизни еще до появления на исторической арене социализма как такового. Далее – определить их общие черты, которые в саму реальность социализма еще не сложились. Другими словами, выявленная сущность социализма дает возможность увидеть родственные черты в различных исторических движениях и назвать их социалистическими тенденциями в те эпохи, когда социализм как целое не сформировался. Все это обосновывает правомерность подведения под одно понятие и общественный организм некоторых древних государств, и утопию Платона, и христианские ереси, и государства ацтеков и иезуитов в Парагвае (см. кн. "Социализм как явление мировой истории").

Выйдя на историческую арену под своим именем, социализм вплетается в жизнь. Сам термин "социализм" часто отрывается от собственного предмета и начинает гулять по областям жизни, от социализма очень далеким. Нужно отметить, что такая подмена относится к сущности социализма: переименовывать человеческий опыт, назвать своим то, что генетически ему не принадлежит. Так, например, в XIX веке большая часть социалистических учений считала основной своей задачей установление "справедливого социального устройства" ("Свобода, равенство, братство"), которое, в первую очередь, понималось как равенство материальных благ. Именно под этими лозунгами социализм получил широкое распространение и проник во все классы общества, на кафедры университетов, в общественную публицистику. Об этой "правде социализма" говорил Вл. Соловьев.

Но имеет ли эта "правда" отношение к сущности социализма, и если имеет, то какое? Идеалы справедливого общественного устройства и равенства жизненных благ имеют такую же историю, как и вся человеческая цивилизация во многих культурах; они входят в нравственные нормы большинства религий. Стремление к общественной справедливости не является отличительным свойством социализма. Не социализм первый поставил этот вопрос. Новое лишь то, под каким углом он видит справедливость и как собирается ее достичь. "Социальная правда" социализма — это ложь, получившая почти догматическое значение. Идеалы справедливости в социализме пронизаны внутренней сокроенной лживостью. Лживостью "перед собой и перед Богом, которая ускользает от человеческого внимания и которая приобретает в человеке характер добра. Существует ложь как нравственный и религиозный долг... Существует социальное накопление лжи, превратившееся в социальную правду" (Н. Бердяев).

Разумеется, нельзя отрицать, что иногда социалистические течения первыми обрушивались на какую-нибудь социальную неправду. Но каким образом? Прежде всего, истинность их критики проистекала из ценностей, чуждых самой сути социализма, а ложь их критики из собственной его природы. Во-вторых, что противопоставлялось обличаемому злу? Зло еще более сильное, полное и принципиальное. Можно что-то обличать из любви к добру. В этом великая истина христианства, его движущая сила — любовь. Но можно обличать во имя реализации чувства ненависти, радости

обличения. (Мы узнаем этот пафос проклятия в лозунгах многих разновидностей социализма: "праведный гнев", "священная ненависть", "проклятое прошлое", "бей буржуев"). В этом лжеистина социализма. Его движущая сила — *ненависть*, то отрицание конкретности, которое является путем к утверждению всеобщего небытия.

О "правде" социализма можно говорить лишь в том смысле, что *по самой своей природе* он прикрывается ценностями ему чуждыми и заимствованными из противоположных реальностей. Эта "правда" заключается лишь в том, что социализм *всегда* прикрывается тем, что в своем действительном значении *абсолютно противоположно* его скрытым целям.

Возможен и тот случай, когда революция под флагом социализма как бы развязывает народную инициативу. Но действующие силы в этом случае не являются социалистическими по своей природе. Это силы, на которых социализм паразитирует.

Социализм за последние два столетия настолько монополизировал тему общественной справедливости, что все политические течения, ставящие этот вопрос, так или иначе связывают себя с социализмом. В современных социалистических партиях Запада "социалистические тенденции так перемешаны с прагматическими наслоениями, что кажется безнадежным их разделить" (И. Шафаревич). В каждой конкретной ситуации необходимо выявлять суть этой связи, которая нередко имеет совершенно различную природу.

В одних случаях общественно-политические течения, возникшие исторически самостоятельно,

отождествляют себя с социализмом, т. к. в силу тех или иных причин подчинились идеологии социализма. В других самобытность движения еще сохранена, но оно носит название по наиболее активной своей составляющей. Так было с рабочим движением в Европе, начиная с 30-х годов XIX века. Возникнув самостоятельно, оно частью слилось с социализмом (марксистское движение, в современности – коммунистическое); частью же только чем-то и в разной степени состыковывалось с социализмом (движения, которые исторически связаны с именем Лассалья, в современности – спектр социалистических партий II Интернационала, от считающих себя марксистскими социал-демократических партий до лейбористов).

Иногда на общественном движении лежит тень социализма потому, что оно пытается положительно решить проблемы, о которых громче всех декларирует социализм (христианский социализм).

В многообразии социалистических движений необходимо выделять осевой поток, неизменный с веками смысл, и пену, которая подымается вокруг. Это позволит увидеть, что Маркс более социалист, чем все его оппоненты по социализму; что социализм восторжествовал в марксизме; что Ленин наиболее последовательный марксист, а Сталин верный ленинец. Все же остальное, не без оснований, именуется последовательными социалистами оппортунизмом и штрейкбрехерством. Марксизм победил в социализме потому, что именно Маркс "творчески" развил принципы, являющиеся сущностью социализма. Ленин более чем кто-либо марксист потому, что он выделил и развил именно то,

что *нового* привнес Маркс в социализм. Эта же эстафета продолжена Сталиным.

Становится понятным и то, почему всегда были и есть социалисты, сочетающие веру в социалистические идеалы с мировоззренческой широтой, самоотверженностью и нравственной порядочностью. Прежде всего, необходимо отметить, что такой тип социалиста является редким исключением и, как правило, изгоем в своей стране. Затем, генезис их мировоззрения имеет только два итога: или происходит резкое изменение их психологии после прихода социалистических партий к власти — весь гуманизм отлетает от них и они становятся в ряд социалистических палачей; или же они окончательно порывают с социалистической идеологией. Это показывает, что "гуманные" "идеалистические" социалисты на самом деле являются *недовоплощенным* типом социалиста, и им еще предстоит либо окончательно воплотиться (Сен-Жюст, Горький, Луначарский), либо вовсе отойти от социализма (П. Струве, Н. Бердяев, С. Булгаков).

Социализм возник как духовное и общественное движение, направленное на уничтожение личности как таковой, ее онтологических корней и всех форм ее существования (религиозное чувство, индивидуальность, свобода, любовь, семья, собственность, формы общественной жизни). А так как личность — это ось бытия, то, в конечном итоге, социализм направлен против самого бытия, стремится восстать на творческий акт Бога, создавшего мир, уничтожить творение Божие. То в истории, что до окончательного оформления идеологии и социализма в той или иной степени

было направлено на подавление или уничтожение этих реальностей, правомочно назвать социалистическими тенденциями. Раз появившись, социализм старается включить в себя все общественные движения, которые ведут к отрицанию основ личности. Все прочие общественные и духовные силы, с которыми социализм соприкасается, он стремится сбить на этот путь.

Сущность идеологии социализма

Разрушительную сущность социализма можно объяснить вполне только с христианских позиций, т. к. эта идеология направлена прежде всего на уничтожение высших христианских ценностей. Социализм паразитирует на христианских ценностях. Поэтому и складывался он в христианских странах, а в регионы с другими религиозными культурами только перебрасывался. Там он может существовать, но не возникнуть.

Высшие, ни к чему не сводимые реальности в этом мире – это *реальность Бога и реальность человеческой личности*. "Возлюби Бога и возлюби ближнего твоего как самого себя" – это главные заповеди Бога, высшая ценность, по отношению к которой оценивается все прочее.

Как говорил Н. Бердяев, Бог глубже во мне, чем я сам. Антропоцентризм возможен только через теоцентризм. Отказываясь от Бога, человек отказывается прежде всего и от своей человечности. Человек постольку сохраняет личностное достоинство, поскольку обращен к Богу.

Острые всех социалистических идеологий направлено на разрушение *религии*, связи человека с Богом, фундамента человеческого существования. "Социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос совершенного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а сведения небес на землю" (Ф. М. Достоевский). Социализм не только атеистичен, но антиатеистичен. Даже социалистические движения, которые не выделяли себя из христианства (христианские ереси средних веков), были устремлены на подрыв основ индивидуальной веры, религиозной культуры, Церкви как живого общественного тела религии. Социализм всегда борется не против недостатков религиозной веры, культуры и Церкви, но стремится к уничтожению религии как таковой. Для этой цели используются все возможные средства: фальсификация религиозных ценностей, обвинение религии во всех неудачах истории, прямое уничтожение.

Выкорчевывая религиозные корни, социализм пытается проникнуть в душу человека в ложно-религиозном обличье. "Ложь имеет свою символику, и символика лжи почитается добром" (Н. Бердяев). Социалистическая псевдорелигия порождает свои "догматы", "культ", "обряд", свои церемониальные действия (парады, демонстрации, собрания, пение интернационала); строит и культово оформляет "храмы" (дворцы советов, съездов, клубы, красные уголки); возводит гробницы (мавзолеи) — с последовательно материалистических позиций невозмож-

но объяснить поклонение праху вождя. Обрядово-культовые стороны социализма являются элементами коммунистической мистики, которая формируется и задается сферой антибытийной духовности ("сатана - дух небытия"). В вожде социализма персонифицируются качества верховного жреца, а то и человекобога (Сталин). В социализме существуют свои священные книги и каста их толкователей, коммунистические "священные писания" (произведения вождей социализма и его теоретиков, постановления коммунистической партии).

Идеологически сакрализуется большинство гражданских праздников, заменяющих религиозные. Так, например, главные советские праздники - день первой в мире социалистической революции (7-е ноября) и "международный день солидарности трудящихся" (1 мая) - явно направлены на замещение Рождества Христова и Воскресения Господня, Пасхи. 7-е ноября - рождение социального Антихриста, первое полное историческое воплощение небытийной идеологии. "Демонстрация трудящихся" в этот день призвана символизировать, реально воплощать и стимулировать преданность духу социалистического рождества, военный же парад - свидетельствовать о мощи и стремлении защищать силой первый плацдарм "идеологической плоти". 1-е же мая - это эсхатологический праздник грядущего всемирного торжества коммунизма, преобразования всекосмической плоти в соответствии с коммунистическими идеалами. Демонстрация в этот день символизировала сплоченность "Товарищей в Антихристе" ("трудящихся всего мира") во имя будущего торжества коммунизма, военный же парад - о на-

личии мощи и готовности использовать эту мощь для всемирной коммунистической экспансии. Последнее настолько очевидно, что советской власти пришлось отказаться от парада 1-го мая, чтобы не компрометировать перед миром свое псевдогуманное обличие. (Во имя своих целей идеологическая власть, если это нужно, способна в своих действиях переходить от откровенного цинизма и наглости к маскировке и хитрости).

Многие социалистические заклинания проникнуты проповедническим пафосом ("именем революции", "без Ленина по ленинскому пути"). Но нет в этой "религии" Бога и все это религиозное лицемерие оказывается культом фикции, поклонением в освященной фикции Духу Небытия. Возглавляют социалистические движения не живые люди и их партии, а "нечто безликое и безличное, некий невоплощенный и невоплотимый аноним" (Р. Редлих). Христианская вера является актом личного общения с Богом Живым и Личным, это духовная встреча-диалог личности человеческой и Личности Божественной. Идеологический же фанатизм безличен, не ощущает личности и разрушает личностное начало в человеке.

Человек – существо, прежде всего, духовной жизни. "Бог есть дух". И дар Божий, отделяющий человека от всей твари и делающий его венцом творения, есть дух животворящий. Дух – это неуловимая сущность человеческого существа, вдунутое Богом "дыхание жизни", делающее его "душею живою". Свершается все у человека в духе, в нем "начала и концы".

Антидуховность является постоянной и прогрессирующей чертой социализма, его приро-

дой. Восстание на дух социализм объявляет "главным вопросом" ("что первично?"...). Материалистический социализм обезглавливает человека, ибо измена духу ведет к обездушиванию, оцепенению, омертвлению, к расчеловечиванию.

Первичная элементарная форма положительного проявления Я как Я – это осознание своей неповторимости, незаменимости, уникальности собственного предназначения, то есть *индивидуальности*.

Социализм стремится к тотальному усреднению, уничтожению всяких качественных различий, разрушению человеческой индивидуальности. Идеал социализма – чтобы все были на одно лицо.

В личности раскрывается глубина индивидуальности. Личность – это индивидуальность, наполненная глубоким положительным содержанием. Личность – это образ и подобие Бога в человеке, это "искорка" Божия. В христианстве Сам Бог воплотился как Бог Личный, как Личность.

Основной пафос социалистической идеологии – это разрушение личности и личностного в человеке. "Социалистическая идеология стремится редуцировать человеческую личность к ее самым примитивным, низшим слоям и в каждую эпоху опирается в этом на наиболее радикальную "критику человека", созданную в то время" (И. Шафаревич).

Положительное (катафатическое) имя, которое человек может дать Богу – это Свобода: "Господь есть Дух, а где Дух Господень – там свобода" (2 Кор. 3, 17). В *свободе* – образ Божий в человеке: "И познаете истину, и

истина делает вас свободными” (Ин. 8, 32). Личность жива и проявляется только поскольку она свободна. Свобода первична, ни к чему не сводима, не из чего в мире не проистекает. Свобода – она и есть свобода.

Все социалистические идеологии тоталитарны, отрицают свободу, пытаются свести человеческую природу к бездушному механизму (“Человек-машина”), винтику более крупного механизма – общества. “Свобода – это осознанная необходимость”, – утверждают классики социализма. Таким образом, требуется, чтобы человек внутренне отождествил свободу с необходимостью, т. е. свободно отказался от самого существа свободы. И это есть наивысшая форма рабства.

Первичное и конечное, основное проявление свободного Бога – это *любовь*. В Боге свобода и любовь нераздельны. “Бог есть любовь” (1 Ин. 4, 8) – и ответом на это может быть только свободная любовь свободного человека. “Способ осуществления единства во Христе, для создания Тела Его, есть *любовь*” (свщ. Александр Шмеман). Любовь – это онтологический корень личности.

Онтологический же стержень социализма – ненависть и вражда.

Если внутреннее проявление индивидуальности – уход в глубину, рождение в ней личности, то внешне это проявляется в индивидуальной связи и с вещным миром, в индивидуальном отношении с существами, вещами, предметами. Это индивидуализация и индивидуальность быта. Это свойство человеческой природы: стремление, чтобы на окружающих вещах почивал *его* дух, чтобы в них была как-то

отражена и его индивидуальность, чтобы они каким-то образом были отражением и его сущности, и чтобы они какой-то своей стороной принадлежали и ему.

Собственность порождается первоначально именно этим онтологическо-психологическим импульсом, а не "экономико-социальными" отношениями, которые лишь на него наслаиваются. Именно этот импульс к преобразению, персонализации предметного космоса – и является источником личной собственности. (Другое дело, что сама преобразенческая устремленность не сводится к этому и им не исчерпывается.) Хозяйственная жизнь порождена тем, что человеку, образу и подобию Бога, посланнику Божьему в миру, сотворцу Божьему, свойственно ощущение устроителя и хозяина.

Собственность является первичной, элементарной формой проявления *особого* характера отношений человека с вещью. Высшей формой этого отношения является творчество. В собственности вещь и попадает в микрокосм человеческого Я, еще не меняя своей сущности. В творчестве же внешнее обладание соединяется с преобразованием внутренней сущности вещи. Вещь уже перестает быть только собой, а становится отражением и продолжением уникальности человеческого Я, на ней запечатлен образ творца.

Отменяя личную собственность, социализм лишает человека индивидуальной, интимной связи с космосом (существами, предметами, землей). Собственность – не абсолютная ценность, но благодатность безусловно в ней присутствует. Лишь попав в круговорот предметных отношений, вышедших из-под контроля человека и лишившихся гуманистической печати,

собственность определенной своей стороной подчинилась безличным "общественно-экономическим" закономерностям. Человек тоже, втягиваясь в безличный круговорот объективированных закономерностей, начинает терять глубины собственного бытия, свою личность.

Этого-то потерянного человека социализм и объявляет собственным человеком: "Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, они – не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это – действительно индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни...

Первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, – *"телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе"*. (К. Маркс, Ф. Энгельс, "Немецкая идеология").

Социалистическая идеология (немецкая здесь ни при чем) "необходимо", "научно"* пытается втянуть человека в порочный круг: не только окружающий мир (природа), но и мир, создан-

* Показателен "научный" арсенал, посредством которого строится доказательство: "Предпосылки... не произвольны... не догмы... действительные предпосылки, первая предпосылка... можно отвлечься только в воображении... конечно... поэтому". Эти навязчиво повторяющиеся заверения играют роль заклинаний, которыми всякий инфантильный ум пытается убедить себя и всех в истинности, объективности, действительности на самом деле совершенно произвольных предпосылок.

ный самим человеком (культура), "объективны", то есть живут и движутся по независимым от человека закономерностям; человеческая природа никак не запечатлена в их сущности. С другой стороны, сам человек является необходимым продуктом природы и цивилизации и качественно не отличается от них. Человек – это простое природное существо и "совокупность общественных отношений". Мир, окружающий человека, безличен. Но и сам человек не имеет ни самобытного духовного начала, ни лика. В мире не остается места для личности. Все личностное, утверждающее себя как *существенное* (а другого быть не может), есть аномалии, с точки зрения социалистической идеологии, и потому должно быть из мира изъято.

Так социализм обезличивает человека и через обезличивание окружающего его мира.

Но на этом идеология социализма не останавливается. Она отказывает в ценности, суверенности *индивидуальной человеческой жизни*. Человек должен лишиться своей индивидуальности и стать "родовым существом". "Политическая демократия является христианской, поскольку в ней человек – не человек вообще, но *каждый человек* считается *суверенным, высшим существом*, притом человек в своем некультивированном, несоциальном виде, в случайной форме существования, человек, как он есть в жизни, человек, как он испорчен всей организацией нашего общества, *потерян, отрешен от самого себя*, словом, – человек, который еще не есть *действительное родовое существо*" (Карл Маркс).

Другими словами, на что притязает "не человек вообще, но каждый человек" с христиан-

ским самосознанием? На то, что он является *суверенным, высшим* существом. А какую тайну о человеке нам открывает социализм, что, с его точки зрения, есть человек *на самом деле*? Человек "как он есть в жизни" – это "некультивированное", "не социальное" существо, существование его "случайно", он "испорчен", "потерян", "отрешен от самого себя". И чтобы, наконец, найти себя, стать "действительным человеком", он должен стать... "родовым существом". Так, культивируя нечто в "некультивированном" человеке, социализм разрушает в нем *человечность*.

Семья – это ближайшая и интимнейшая сфера жизни человека. Это микрокосм общественной жизни личности. В семье является предвечное единение человеческих душ. Через семью только и можно войти в человеческую жизнь. Семья – это малая, домашняя церковь: "И будет муж и жена одна плоть".

Социализм стремится обезличить человека и через уничтожение семьи. С разрушением семьи человек развоплощается, расчеловечивается, ибо внешние формы и скрепы не могут заменить органического единения человеческих душ, данного им от века.

Восстание социализма на человека есть, прежде всего и в конечном итоге, *восстание на Церковь Божию*. Церковь Христова – это от Бога установленное общество верующих во Христа, Общество, "соединенное Словом Божиим, священноначалием и таинствами, под невидимым управлением Самого Господа и Духа Божия, для вечной жизни и спасения". Истинному обществу, братству в любви социализм противопоставляет товарищество во лжи. Социализм пы-

тается выбить из человека всякую связь с вечностью и всякую память о вечной жизни. Христос – глава Церкви, а Церковь – Его Тело. Жизнь в Церкви есть созидание Тела Христова. Истинного Главу социализм пытается подменить "безличным анонимом", а "град Божий" – "утопией", создаваемое тело спасения – разрушить в прах.

"Эклексия" – означает "Собрание всех вместе в единство" (св. Кирилл Иерусалимский). "Это есть единство людей во Христе с Богом и единство людей во Христе между собой" (о. Александр Шмеман). "Церковь есть единство не только в том смысле, что она одна и единственна, она есть единство прежде всего потому, что сама ее сущность заключается в воссоединении разделенного и раздробленного человеческого рода" (Г. Флоровский). "Церковь есть подобие бытия Св. Троицы, подобие, в котором многие становятся одним" (митр. Антоний). Социализм же воплощает силы раздора, разлада, разъединения всего в ничто. Социализм противоположен всем бытийным, мистическим силам, создающим истинную человеческую общность, соборность, то есть Церковь. Восстание на Церковь есть восстание на единство, святость, соборность, преемственность и истинную иерархичность жизни.

Необходимо различать *аргументы и мотивы* отрицания социализмом каких-либо реальностей человеческой жизни. То, чем социализм аргументирует необходимость уничтожения чего-либо, может быть совершенно не связано с мотивами, которыми социализм глубинно руководствуется в этом уничтожении. Всякое разрушение в социализме аргументируется,

большей частью, необходимостью избавления от отрицательных сторон жизни. Так, например, собственность подлежит уничтожению потому, что она "нечестно нажита", потому что "собственник эксплуатирует несобственника". Торговлю надо уничтожить потому, что "купля и продажа - великий обман, посредством которого грабят и крадут землю друг у друга". Действительно, всему в этом мире присущи отрицательные стороны. Вырождаться может все на свете и всем можно злоупотреблять. Но в социализме под видом уничтожения негативных сторон уничтожается сама ткань жизни. Мотивы разрушения в социализме имеют единственный источник: *уничтожение само по себе*.

В конечном счете, социализм направлен на разрушение именно тех реальностей, которые созидаются христианством. Богочеловеческое творчество, христианизация мира, преображение бытия имеют конечной целью истинного человека - Богочеловека ("Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом" - Афанасий Великий) и истинного общества людей - Церкви ("Град Божий", Богочеловечество).

Социалистическое движение пытается подменить глубинные основы жизни, утверждаемые христианством. Вместо Богочеловека - человекобожество (человекоубожество). Вместо "Града Божьего" - земной град с "князем мира сего". Идеология социализма так наполнена коллективистским пафосом потому, что наиболее верное средство сбить человека с богосозидательного пути - это переориентировать его силы на созидание бесосновного, фиктивного общества. Обращаясь к социалистам, Н. Бердяев писал: "Гибель личности человеческой должна

окончательно завершиться в вашем человеческом коллективе, в котором погибнут все реальности, в вашем грядущем муравейнике, этом страшном Левиафане... Ваш коллектив есть лже-реальность, которая должна восстать на месте гибели всех подлинных реальностей, реальности личности, реальности нации, реальности церкви, реальности человечества, реальности космоса, реальности Бога. Поистине всякая реальность есть личность и имеет живую душу – и человек, и нация, и человечество, и космос, и церковь, и Бог. Никакая личность в иерархии личностей не уничтожается и не губит никакой личности, но восполняет и обогащает. Все реальности входят в конкретное всеединство. Ваш же безличный коллектив, лишенный души, оторванный от онтологической основы, несет в себе смерть всякому личному бытию. И потому торжество его было бы торжеством духа небытия, победой ничто”.

Социализм ”изобличает... не тайну исторического процесса, а отсутствие этой тайны, изобличает страшную зияющую пустоту человеческой истории, изобличает небытие человеческого духа, небытие всей духовной жизни человечества, религии, философии, всякого человеческого творчества, наук, искусства, и т. д. Марксизм утверждает, что все это – небытие” (Н. Бердяев).

(Окончание в следующем номере)



Мячик закатился под кровать...*

Издание альманаха "Метрополь", закончившееся памятным разгромом группы участников, определило их судьбы, столь непохожие одна на другую. Аксенов преподает в американском университете, Кублановский на вольных хлебах в Мюнхене. Волна гласности выбрасывает гостями на западные берега Попова и Ерофеева. Кто-то вернулся в Союз писателей, кто-то так туда и не вступил.

Теперь, через несколько лет, когда пожинаются подлинные плоды того толчка – некий финал истории, когда лица участников до конца прояснены, и они сами заняли надлежащие места в интерьере сцены – кажется, только один из них, сеявших, плодов особенных не вкусил. В ССП не вступил, в университет тоже. Заработать книгами на жизнь по-прежнему для него – вещь недоступная, а, стало быть, профессиональным литератором (по принятой мерке) он не стал. Хотя пишет по-прежнему: искренне, честно, бескорыстно. Работая одновременно то ли слесарем, то ли в кочегарке... Его книга о Маяковском, между тем, должна была бы ввести его по меньшей мере в первый ряд фигур современной литературы. Однако его искренность и чистота высказывания остаются за пределами новой, так быстро создавшейся конъюнктуры, в которой для него не оказалось, собственно, места, как и в прежней. За исключением периферийных колонок, вроде "Советуем прочитать" или "Новые книги". При этом речь вовсе не идет о его собственных книгах... И вовсе не о книгах. Дают ему немного подработать? Или точно указывают ему место в сложившейся сегодня структуре? Всё равно... Всё равно, интересно глянуть – что же теперь он пишет и о чем.

Итак, в первом номере журнала "Новый мир" за 1989 год в разделе "Книжное обозрение" опубликована

* Юрий Карабчиевский. "...до былой слепоты не унизимся". "Новый мир" № 1, 1989, Москва.

статья Юрия Карабчиевского "... до былой слепоты не унизимся", отзвывая на мемуары Константина Симонова, почти год назад напечатанные в журнале "Знамя". Об этих мемуарах сказано уже немало, чего, казалось бы, еще? Да и с таким опозданием?... Опять же - чем больше наматывается километраж комментариев к портрету "отца народов", тем менее определенным становится сам портрет. А значение самого "отца" для тех же народов в положительном смысле начинает снова расти, вместо того, чтобы быть изгнанным из людского сообщества. Да и, кажется, поздненько при нынешних темпах изданий через почти год заниматься не слишком-то и выразительным материалом. Но тогда чем же статья Юрия Карабчиевского выделяется из набора "Книжного обозрения", почему тогда она сама заслуживает разговора?

Во-первых, потому, что написана она искренне и явно не по заказу. Может быть, этим и объясняется поздняя её публикация.

Во-вторых, речь в ней, собственно, идет не столько об образе Сталина у Симонова, сколько об образе Симонова у Сталина. Тут к истории мемуаров автора "Живых и мертвых" я и сам мог бы добавить кое-какую деталь. В последние годы жизни Константин Михайлович снимал кусок участка у некой тётки Дуси, жительницы поселка Гульрипши под Сухуми. На этом куске он выстроил домик. Ну и поживал там, в суровой солдатской обстановке. Мне же - после его смерти - случилось несколько лет подряд у той же тётки Дуси снимать комнатку - с теми же солдатскими целями: провести лето в суровых условиях на берегу моря Черного, среди стихий. О мемуарах Константина Михайловича тётка Дуся знала лет за десять до их публикации в журнале "Знамя". Сам автор ей о них сказал. Примерно так: "Вот умру я, тётка Дуся, и тогда - увидите, всю правду, наконец, напишу". Тётка Дуся была этому факту очень рада. Вообще-то Константину Михайловичу ничего не стоило радовать своих соседей самым фактом своего среди них существования. Неподалеку от тётки Дуси жил, и я надеюсь, еще живет, первопроходец тех мест Лука Антонович. Замечательный, трудолюбивый старик, глубоко религиозный, еще в первую мировую газами травленный, а в первую-вторую аграрные революции - сначала по столыпинскому призыву добровольно стал переселенцем, а потом по сталинскому - не по своей воле, но опять же им. Лука Антонович тоже стал объектом внимания Симонова. Как-то раз даже пришел Константин Михайлович к Луке Антоновичу с поросен-

ком в руках. И сказал: "А зажарь-ка мне, Лука Антонович, этого поросеночка. А я его вечерком съем". И этим Луку Антоновича очень обрадовал. После этого говорил мне Лука Антонович: "Да, простой же был человек Константин Михайлович! Доступный".

Но вернемся к Юрию Карабчиевскому.

В-третьих, его статья заслуживает разговора потому, что она не столько о Симонове, сколько о самом Юрии Карабчиевском. Разобравшись с изрядно намутившим в нем образом Симонова у Симонова, поставив диагноз его "покаянию", Карабчиевский пишет: "Нет, ничего такого существенного не пересмотрел в своей жизни Симонов, и не покаяние – лейтмотив его книги, а скорей – оправдание. И когда я понял это про Симонова, я взял и перечитал его стихи. Что сказать? Это был настоящий поэт. Или я так и не поумнел, или эти стихи настоящие.

Кто лгал, что я на праздник не пришел?
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,
Бесшумно к вам подсядем мы за стол
И сдвинем за живых бесшумные стаканы".

"Будем справедливы к Константину Михайловичу", – пишет Юрий Карабчиевский, – "не так далеко мы от него ушли, как кажется. Поколение, прожившее лучшие годы в той придуманной иллюзорной стране, воспитанное на той культуре – это, если до конца быть честным, потерянное для будущего поколение, его не может спасти никакой пересмотр. Вот и сейчас, раскроешь случайно подходящую книгу иймаешь себя на том, что ЛЮБИШЬ, что тоскуешь, и, страшное дело, тянет ВЕРНУТЬСЯ..."

Итак, тянет вернуться, о, как это знакомо! Как близка эта ностальгия! Эмигранта тянет вернуться в страну, которой уж нет, тянет на руины. Преступников тянет на место преступления, солдата на место ненавистной службы. Всех тянет в собственное детство. "Кортик", "Два капитана", "До свиданья, мальчики" – о, Боже, что за прекрасные сказки! Куда там до них "Детям Арбата" или даже "Перед зеркалом"! Ностальгия... Это тяга не географическая, это тоска по утраченному времени. Можно куда не уезжать и испытывать все её сладкие муки. Это тоска по чистоте и ясности, это глубочайшая потребность в покое и вновь обретенной надежде. Тоска по земле обетованной, где друг – это простой суровый друг, где подруга – открыта и нежна, где слова скупы и сдержан плач. Где все свои, и все

- достойные люди. А кто не свой - тот не достоин. Нет, дело не в воспитанном на ТОМ искусстве поколения, не только его кусает эта ведьма-ностальгия. По мере того как разоблачительный митинг, в который очертя голову сунулись все сейчас, всё больше станет утомлять и оглушать, начнется ностальгия по пропавшей тишине, строгим фанерным интерьерам, бархатным портьерам, верным друзьям-солдатам, скупой и честно прожитой жизни; несгибаемость молчания, ценность рукопожатия или взгляда - все эти магниты ностальгии станут притягивать всё больше и больше людей, невзирая на то, какое поколение их породило.

Сам Карабчиевский лишь думает, что у него был повод вернуться к стихам Симонова, что случайно вспыхнула в нем эта сладкая боль. Но не этот повод - так другой, не Карабчиевский, так кто-нибудь еще, и вовсе не по случайности, а неизбежно. Это наш собственный, для всех "ретро", это наш родной Гэтсби, и, пожалуй, более притягательный, чем тот, импортный. Ибо: "Бороться и искать, найти и не сдаваться".

Чем больше разгуляется стихия разоблачаемого, а в разоблачении - торжествующего зла, тем больше должна стать тоска по пусть иллюзорному, но добру. Добро ведь всегда несколько иллюзорно, не привыкать. И не привыкать ко злу, только чего уж там кричать о нем, забывая о достоинстве, о солдатской простоте, о скупости подлинной искренности? Разве нельзя просто сцепить зубы и стоять, не теряя мужественной привлекательности одному среди немногих настоящих друзей, и когда тебя ждут, и когда дожди идут, и когда зима?

Что там говорить, внутри уж складывается выбор. Поддавшись его очарованию, Карабчиевский вон сразу же и опомнился - пишет так он сам. А другие? А те, кто не может вот так просто от сладкого отказаться? Да и то сказать: насколько оно, это сладкое, лучше сработано, этот десерт - найденный клад в "Кортике", найденная подруга в "Двух капитанах", дом родной... насколько нужнее сердцу, чем кислый разочарованный ребенок с Арбата. Да, это горько-сладкое, как шоколад-сырец, лучше всех в мире шоколадов, который выдается курсантам-летчикам на килограммы в их простых и суровых альма-матер, домах родных. Поэт Симонов - действительно был поэт, но не такое уж исключение. Их много, и каждый их читатель - тоже такой же поэт. А есть и совсем безымянные. Ничем не хуже. Я вот сейчас процитирую, может быть, кто-нибудь назовет мне их автора?

Тише, мышки, мальчика не троньте,
Пусть поспит кудрявый молодец.
Наша мама летчицей на фронте,
Вместо няньки раненый отец.
Спи, мой мальчик, спи.
Тикают часы.
Мячик закатился под кровать.

Буду бесконечно благодарен изыскателю. Ведь наверняка в ходе его поисков обнаружится то ли "Боевой листок", то ли "Фронтовая газета": эдакий тогдашний "Метрополь". И автор текста – какой-нибудь тогдашний Карабчиевский.

Виктор Б о р и с о в

"Я чужбинную ноту пою..."*

"Мы, пишущие в эмиграции с конца последней войны, всё чаще (со старением своим) чувствуем творческое, я бы сказал, одиночество: замалчивают нас на Большой земле, на здешней – читательская убыль", – писал в одном из писем ко мне Леонид Денисович Ржевский. Вспомнила я эти пронзительные строки его письма, читая только что вышедшую новую книгу стихов Валентины Синкевич "Здесь я живу" (художественное оформление Владимира Шаталова).

Печатающихся поэтов сейчас в эмиграции много. Кто-то творчество выдвигает вперед, кто-то выдвигается сам. Для одних поэтическое творчество – развлечение, для других – дело всей жизни. Для Валентины Синкевич – поэзия, не только её собственная – её жизнь, её любовь.

В тот первый ряд – нет, не иду.
Другие за меня прильнут к светилам.
Тружусь я в одиноком, но в своем саду –
Всё остальное – не по силам...

(с. 9)

* Валентина Синкевич. "Здесь я живу". 111 с. Филадельфия, "Энкаунтерс", 1988 г.

ления военных лет, поколения, для которого мир "раскол" был на Запад и Восток".

Но всё же, в драматических и эмоциональных стихах есть у Синкевич и оптимизм, который присущ её взгляду на творчество:

Что ни год – считаем потери,
что ни год – спокойнее верим,
что нет ничего впереди.
Только нет, подожди...

И дальше:

Разве это не ветра строка
на бумаге огромной и белой?
И перо поднимает рука
тяжело, и легко, и умело.

(с. 8)

Тема творчества – пожалуй, одна из самых главных тем сборника. Она многогранна и по настроению, и по содержанию. Включает она не только поэзию, но и живопись, и театр, и музыку, и балет. Представление художника, творца, сжигающего себя в собственном творческом пламени, особенно близко ей:

Снова, Мастер, в огне ты.
Не камин, не свеча, не очаг,
а костер. В нем сгорают приметы
вечеров и ночей, и рассветов,
вереницы беспечных обедов,
нарушения клятв и обетов.
Твой костер, твой заклятый враг,
у которого в пламени – тайна...

(с. 66)

И для неё самой творческий процесс – это "дрожь, это жар, будто ночью пожар, и светлый феникс из пепла, и снова пожар..." Строчки эти перекликаются со строчками Анны Ахматовой: "Это – выжимки бессонниц, / Это – свеч кривых нагар, / Это – сотен белых звонниц / Первый утренний удар..."

Человек большой доброты, В. Синкевич болезненно воспринимает многое вокруг. Ей "больна" чужая боль. Умирает ли соседка:

Умирает больная. Медленно
тают под утро зори.

Холодно в постели и ветрено.
И лодка терпит бедствие в море...

(с. 54)

Или уходит из жизни большой поэт – одинаково
больно:

... И грустно уходит поэт
и лиру с гвоздя не снимает.
Но я не согласна.
Ведь, Господи, кто его знает,
рождается он или он умирает,
оставивший лиру поэт?!

(с. 45)

Будучи в Калифорнии, она узнает о судьбе ныне забытого поэта Бориса Волкова, умершего на Западном побережье США в 50-х годах. Валентина Синкевич находит его стихи, привозит их в Филадельфию. Стихи эти напечатаны в редактируемом ею поэтическом альманахе "Встречи".

"Здесь я живу" – книга зрелого мастера. Но наряду с удивительно яркими метафорами, попадаются строчки надуманные, неестественно звучащие, будто неправильно переведенные с иностранного языка: "... и спешит по делам и по телам, / как вчера и как завтра спешит". В таких отдельных строчках "двуязычность" поэтессы играет роль отрицательную.

Дело в том, что В. Синкевич как поэт формировалась уже на Западе. Творческий путь её не был легким. Первая книга её стихов "Огни" вышла в 1973 году. Вторая волна эмиграции уже вынесла свои значительные имена: Елагин, Моршен, Анстей, Ильинский и др. Третья волна еще не появилась. Сборник прошел почти незамеченным, если не считать рецензию Ирины Одоевцевой в "Новом русском слове", отметившей несомненный талант поэтессы, и в "Русской мысли" маленькую благожелательную заметку Юрия Терапиано. Затем с большими интервалами вышли еще два сборника поэтессы.

Сейчас она пишет стихи на русском и на английском языках, часто выступает с чтением своих стихов на двух языках перед англоязычной аудиторией. Её называют здесь русско-американской поэтессой. Мне хочется подробнее остановиться на этом необычном явлении, так как поэзия Синкевич лично мне представляется глубоко русской, хотя впитавшей в себя и американскую культуру. В стихах её, безусловно, отражена традиция русского стихосложения, но в то же время

есть в ней и некая американская современная "раскованность", иногда довольно резкие нарушения ритма и увлечение нерифмованным верлибром:

Изломаны линии города,
тонущего в фонарях.
Пророки в джинсах
резиновым шагом
шагают вдоль стен...

(с. 82)

Синквейч – поэт сложный, быть может, не вполне вписывающийся в наше поэтическое Зарубежье. Она другая, ни на кого не похожая. Стихи её льются странным музыкальным потоком, нередко это музыка со странной гармонией. И всё же стихи её удивительно целостны и предельно искренни:

Вот так пишу, а не иначе.
Пусть почерк мой для многих
ничего не значит.
Пусть – неразборчив и тяжел,
но он от сердца шел
стезей прямою...

(с. 94)

По чувству и часто по содержанию тоже стихи её остаются глубоко русскими.

...Россия.
Камни её превращаются в хлеб
и хлеб превращается в камни.
Когда-нибудь она позовет,
но вас уже нет на земле.
Иногда я вижу её голос.

(с. 109)

Поэтесса поет ту Россию, которую сумела не потерять, – Россию Блока и Мандельштама, Цветаевой и Ахматовой.

Хватит ли тем без России? –
спросили.
Затем: Сможешь сберечь
русскую речь
без России? –
Спросили.
Ответила: Да.

Навсегда.
Ведь я из России.

(с. 110)

И всё же в стихах Валентины Синкевич есть нечто раздвоенное, чувствуется некое психологическое состояние человека, творчески живущего в двух культурах. Она хорошо выразила это сама в стихотворении из цикла "Где мои пристани?", которое я приведу полностью:

Что сказать о своем житье?
Да, к небоскреbam привыкла.
И даже в русском моем нитье
чужестранная нота выпукла.
Я чужбинную ноту пою -
насквозь надрывно и томно
в небоскребно-бетонном раю -
птицей на ветке темной.
Так пою, что не знаю сама -
где я? Откуда я?
Только пыль, да ковыль,
на дороге сума...
Эх, не сойти бы с ума
в русский платок плечи кутая.

(с. 20)

Елена Д у б р о в и н а

Русская судьба*

"Когда отмирает земное, мятущееся и болящее тело, тогда начинает жить не человек, а судьба человека", - писал Миксимилиан Волошин. Эти слова его вспомнятся при чтении книги Павла Жадана "Русская судьба". Конечно же Волошин имел в виду избранных, так как судьба не начинает жить после смерти каждого

* Павел Жада н. Русская судьба. "Посев - США", Нью-Йорк, 1989. Обложка художника В. Филимонова.

человека. Но земной путь многих русских людей, живших в судьбоносное время нашей истории, становился судьбой даже при их жизни. Так, судьбою можно назвать путь русского патриота-воина Павла Жадана.

Мемуарная литература первой эмиграции разносторонне богата. В отличие от второй эмиграции, предпочитавшей жанр автобиографического романа, повести и рассказа, первая эмиграция – не только её писатели, но и художники, артисты, бывшие государственные деятели и военные, – писали книги воспоминаний, представляющие ныне ценнейший материал об очень сложном времени. Мемуарная литература зарубежных авторов выходит до сих пор; и снова это книги преимущественно авторов первой эмиграции, – только сейчас они издаются с помощью оставшихся в живых близких членов семьи, – чаще всего вдов, трогательно хранящих светлую память о своих ушедших, но не забытых спутниках жизни. (Здесь можно упомянуть сборник Ивана Савина "Только одна жизнь" – проза, стихи и материалы о нем, изданный недавно вдовой Савина Людмилой Сулимовской *.)

"Русская судьба" тоже вышла с участием вдовы автора Лидии Жадан: введение, предисловие к третьей части и послесловие написаны ею. И ей же посвящена книга.

На цветной обложке "Судьбы" изображен Георгиевский крест. "Прочтя выдержку и приказа по 1-му Армейскому корпусу за № 505 от 1920 года, командир украсил мне грудь Георгиевским крестом", – читаем мы на сс. 86–87. В примечании к тексту говорится, что Павел Жадан был последним воином, удостоившимся этой славной награды. Перед титульным листом дана фотография, на которой изображено красивое лицо мужчины с высоким лбом, крупными волевыми чертами и напряженно-пристальным взглядом неимоверно пронизывающих глаз. По этим глазам можно прочитать характер, до конца определивший судьбу человека с русским именем, в котором звучат слова "жданый" и "ожидание". Первоначально книгу своих записей Жадан назвал "Настоящая история жизни обыкновенного человека". Однако, ни автор, ни его история жизни обыкновенными не были.

"Русская судьба" Павла Васильевича Жадана (1901–1975) написана ретроспективно в манере дневниковых

* См. рецензию В. Синкевич на этот сборник в журнале "Грани" № 149 (3), 1988. – Ред.

записей. Кратко и неприязнательно автор рассказывает о своих родителях, о детстве, затем подробно останавливается на главных этапах своей деятельности: революция, гражданская война, Вторая мировая война и короткий отрезок времени, связанный с беженской жизнью в Прибалтике и послевоенной Германии. Нужно сразу же отметить, что Павел Жадан – человек не литературы. Книга не вызовет обычных восторгов по поводу стиля, словесных находок и мастерства рассказчика. Нет. Ценность книги совсем в другом.

Еще полностью не написана история нашего пред- и послереволюционного прошлого. Еще могут говорить свидетели-участники Белого движения, и многое еще не высказано о тяжелой борьбе за Россию, проходившей на фоне столкновения сталинизма и фашизма. Правдивые свидетельства участников судьбоносных событий – ценнейший материал для исторических исследований по обе стороны рубежа. "Русская судьба" – еще одно такое свидетельство.

Павел Жадан – сын земли, крестьянин по происхождению. Он хорошо помнит быт своей зажиточной семьи, разбогатевшей благодаря упорному и разумному крестьянскому трудолюбию. "Еще в 1913 году отец купил автомобиль..." (с. 19). "Рабочих кормили четыре раза в день. В субботу с рабочими рассчитывались и развозили их по домам, в соседние села за 40-50 верст" (с. 20). И дальше: "Жалованье рабочим выплачивалось вовремя (в летние месяцы рабочих было до 400 человек)" (с. 20).

Павел учился в гимназии. Но свое назначение почувствовал рано; и рано проснулось у него чувство долга, не покидавшее его всю жизнь. Шестнадцатилетним гимназистом идет он добровольцем в Белую армию: "Могу ли я спокойно заниматься, когда в этом бою гибнут люди, защищая мою жизнь?..." (с. 42). "...нашему поколению было суждено выпить горькую чашу русской революции и гражданской войны до дна". И дальше: "Моим сверстникам было уготовано другое... Стоял вопрос не о том, в какой университет, – а в какой полк поступать, чтобы спасти родину..." (с. 60).

Без пафоса, без геройских жестов автор описывает свое участие в неравных по численности и по вооружению боях: "С фронта и со станций нас обстреливала артиллерия, попадания которой были довольно точными. С тыла нас косил из пулеметов бронепоезд..." (с. 51). "Оказалось, что в ротах осталось по 10-20 человек, остальные погибли или, раненые, были добиты красными... Через неделю мы были снова в боях. Впоследствии

эти бои вошли в историю как Второй кубанский поход" (с. 53).

Очень хорошо дана Жаданом страшная картина эвакуации из Крыма в Константинополь, описанная многими свидетелями и все же каждый раз вызывающая чувство глубокого сострадания к людям, пережившим эту трагедию. "Кончилась Крымская эпопея... На 126 судах было вывезено 145,693 человека, не считая судовых команд... Спали вповалку на мокрых палубах, в грязных трюмах, под копотью труб... Не было не только горячей пищи, но и горячей воды для чая. Наконец показались огни маяков у входа в Босфор. Русские суда подняли французский флаг и вошли в пролив..." (сс. 100-101).

"Югославский" период жизни автора вкратце рассказан Л. Жадан. В 1930 году группа русской молодежи создала организацию, известную ныне под сокращенным названием НТС. "Павел Васильевич сразу возгорелся идеей Союза, вступил в него и отдал ему дальнейшие годы своей жизни", - пишет она.

Свои воспоминания П. Жадан возобновляет с событий 1941 года. Читатель снова делается свидетелем необыкновенной деятельности этого на редкость жертвенного, идейного и героического человека действия. Вместо философских размышлений и неуверенных предположений, в опасных ситуациях (их было много на его пути) он умел поступать быстро и решительно, верно оценивая создавшееся положение. Эта способность спасала не только его, но и людей вокруг него. Для такой деятельности требовался человек с трезвым спокойным умом и с большой физической выносливостью. Имеено из-за этих качеств НТС доверил ему ответственную работу - наведение контактов среди населения оккупированной России.

Павел Жадан попал на родину в 1942 году, за месяц до капитуляции армии Паулюса под Сталинградом. Первое, что поражает этого вернувшегося домой русского - это нищета населения, деморализованного страхом, побежденного своими изнутри и чужими извне.

Киев, Харьков, Минск, Псков... И снова поражаешься - на этот раз упорной верой Павла Жадана в доброе начало русского человека, в его сложную, но всё же настроенную на доброе душу. И это на фоне тяжелейших бытовых условий барачов, рытья окопов, неосвоенной камуфляжной работы электротехника, на фоне столкновения с ужасами лагерей для военнопленных, в которых свирепствовали "свои" полиция. "Я видел, как они обращались с пленными, зверски избивая их" (с. 141).

Но Павел Жадан видел, вернее, сумел увидеть и многое другое: "Меня удивляло, как жившее впроголодь население каждый день находило продукты для военнопленных" (с. 139). Или "кормилец" Ванька, пятилетний мальчик - более жалобный вариант некрасовского мужичка с ноготок Власа. "Утолив голод, он рассказал, что отец его где-то воюет. У матери - четверо детей, и Ванька - старший, кормилец семьи" (с. 143). "Работал" он при каком-то шофере, дававшем Ваньке кусок хлеба, который тот, сам голодный, нес домой матери. "Ванька потом часто заходил к нам, но никогда ничего не просил. Когда предлагали, он великодушно соглашался: «Ну что же, давай»... На вопрос: «Куда спешишь, Ванька?» - он неизменно отвечал: «На работу»" (с. 143-144).

Но цели Союза, пославшего надежных своих людей в Россию, и цели оккупантов не совпадали. С лета 1943 года начались массовые аресты членов НТС. Арестована и посажена в кадет была и жена Жадана. Её допрашивали "с пристрастием" о муже и даже вменили ей в вину обладание книгой немецкого славянофила Шубарта "Европа и душа Востока". Книгу нашли во время обыска. Из 194 арестованных членов НТС 56 погибли в немецких лагерях.

После окончания войны Павел Жадан работал в беженских лагерях, занимаясь насущными проблемами беженцев и, самое главное, - спасая людей от насильственной репатриации. И сверх того - всё время была непрерывающаяся и напряженная работа для НТС. Умер он в Соединенных Штатах.

Павел Жадан боролся всю свою жизнь за Россию. И можно сказать, что он не был побежден. Когда дважды он вынужден был покинуть её, она оставалась не за рубежом, она была в нем. В этом заключалась непобедимая сила этого "обыкновенного" русского человека.

Валентина Синкевич



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А к с ю ч и ц Виктор, род. в 1949 году в одной из деревень западной Белоруссии. Окончил мореходное училище и философский факультет Московского университета. В настоящее время является соиздателем (вместе с Глебом Анищенко) независимого журнала христианской культуры "Выбор". Живет и работает в Москве. Рукопись публикуемой работы получена по каналам Самиздата. См. также его статью "От отчаяния к надежде" в "Гранях" № 151(1), 1989.

А н и щ е н к о Глеб - живет и работает в Москве. В настоящее время является соиздателем (вместе с Виктором Аксючицем) независимого журнала христианской культуры "Выбор". Рукопись публикуемой статьи получена по каналам Самиздата.

М у р а в ь е в а Ирина, род. в Москве в 1952 году. По образованию филолог. В Москве занималась переводами английской и немецкой поэзии, много писала о Пушкине. Эмигрировала в 1985 году. В настоящее время живет в Бостоне (США), преподает в Гарвардском университете. Регулярно печатается в русских изданиях эмиграции. Автор "Граней" (№№ 144, 148, 149, 150).

Р а з у м о в с к и й Юрий, известный поэт. Участник Второй мировой войны. Живет и работает в Москве. Рукопись публикуемой подборки стихов получена по каналам Самиздата.

С л а в и н - Б о р о в с к и й Павел живет в Москве. Активно участвует в свободной общественной деятельности. Один из руководителей независимой организации "Комитет социальной защиты" и член правления Московской группы Международного общества защиты прав человека (с Генеральным секретариатом в ФРГ).

С а в и ч Никанор Васильевич (1869-1942), известный русский государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы III и IV созывов от Харьковской губернии, земец. В IV Думе был возглавителем подкомиссии по военно-морским делам, в которых его авторитет был необычайно велик. Временное Правительство сразу после февральской революции предложило ему пост военно-морского министра, но Савич отказался, зная зависимость Временного Правительства от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Участник Белого движения. Входил в состав Особого Совещания - правительства при главнокомандующем ген. Деникине. Вместе с армией ген. Врангеля прошел весь крестный путь военной эмиграции. С 1921 года и до конца своих дней жил в Париже.

С о л о у х и н Владимир Алексеевич, известный советский писатель. Род. в 1924 году. Книги Солоухина пользуются заслуженным успехом как у отечественного читателя, так и у зарубежного. Без ведома автора его рукописи много раз попадали в Самиздат, а затем на Запад. Так, в журнале "Грани" были опубликованы рассказы Солоухина (№ 118, 1980), главы из его книги "Смех за левым плечом" (№ 147, 1988), которая вышла в изд. "Посев" в том же году, глава "Читая Ленина" из новой книги (№ 151, 1989). Это также относится и к публикуемой в этом номере подборке стихов из нового сборника.

Т р е т ь я к А. - живет в СССР. Рукопись публикуемой статьи получена по каналам Самиздата.

**Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 60 н.м.
через магазины — 70 н.м.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н.м.
через посредников — 84 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.